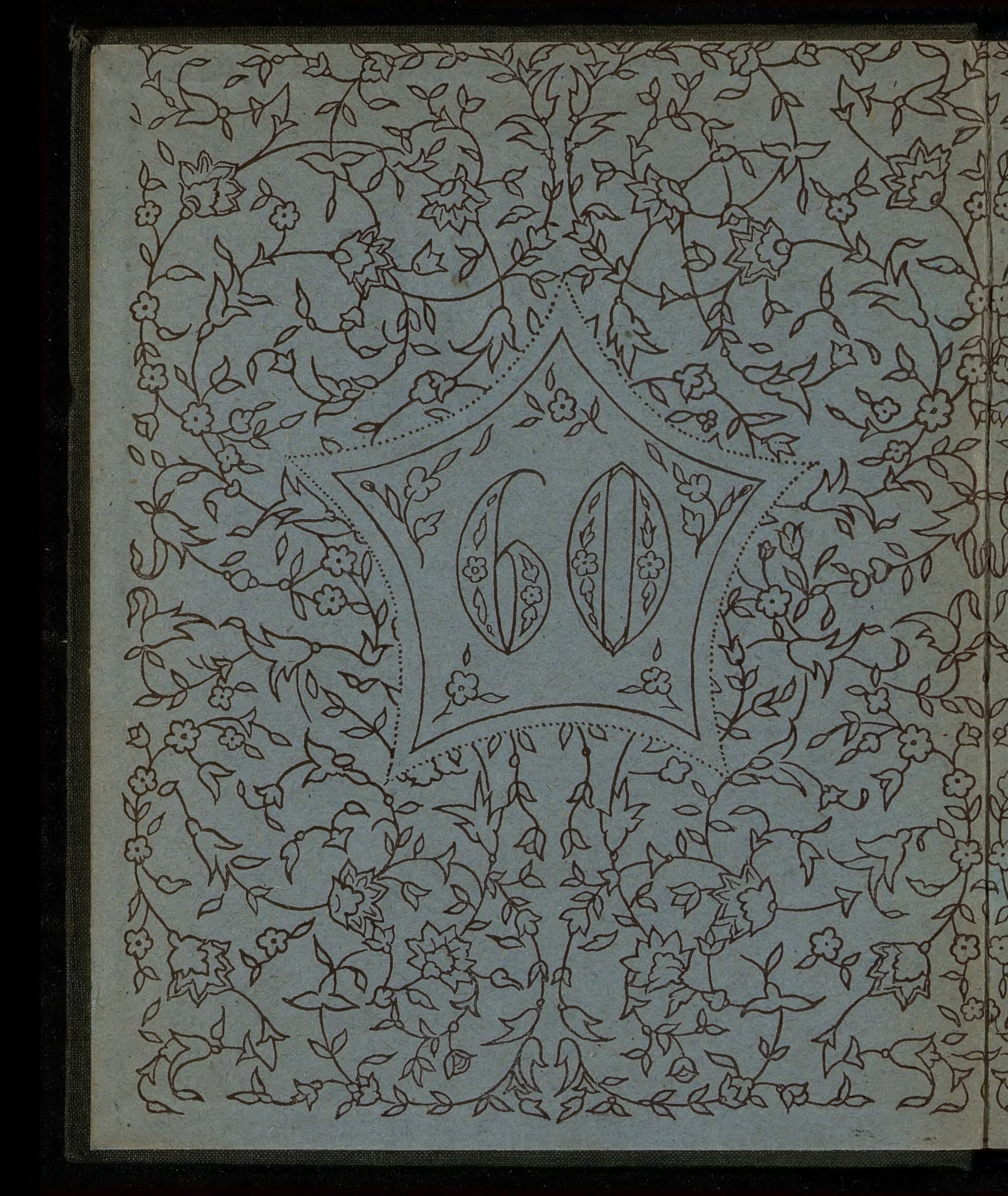
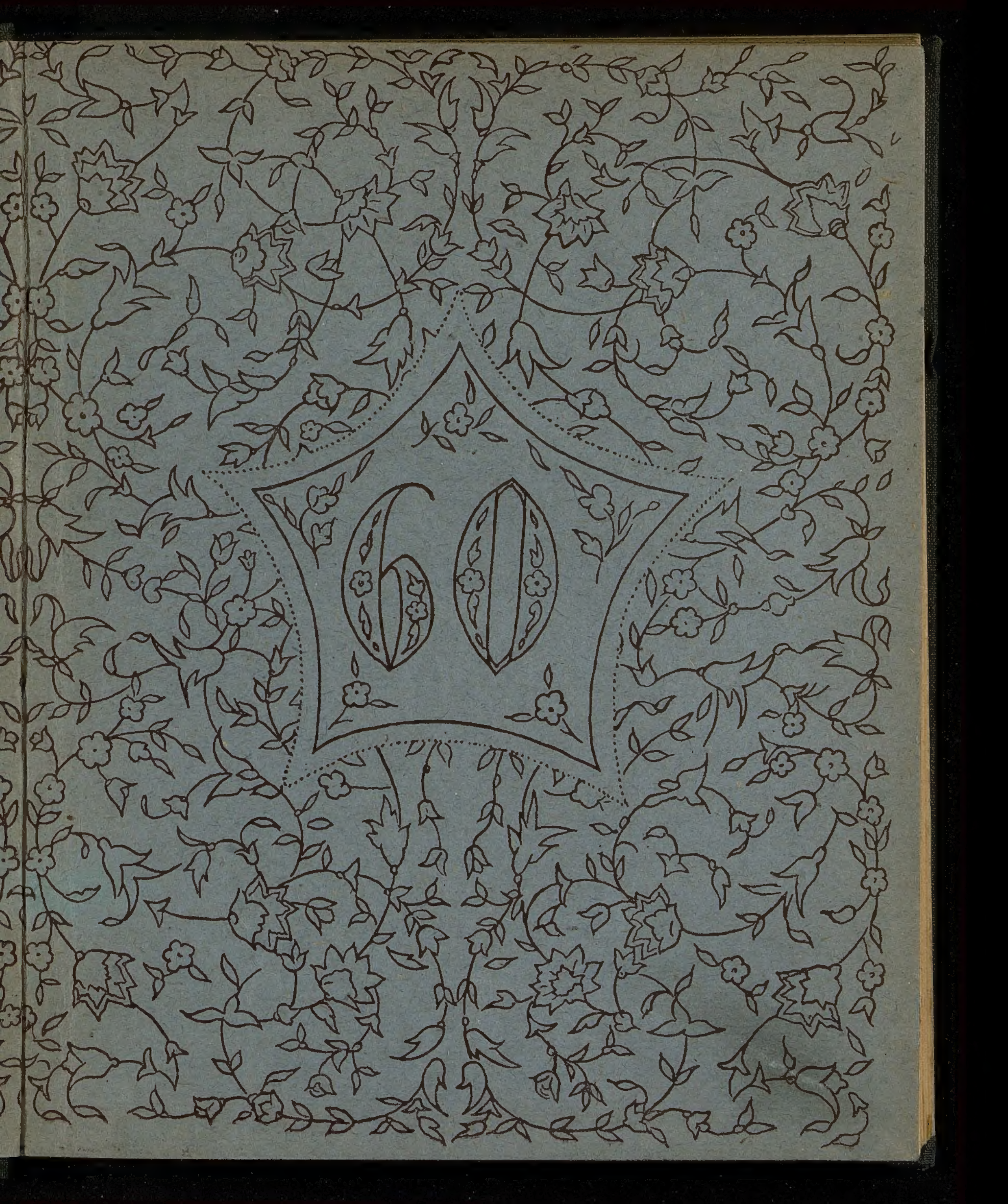
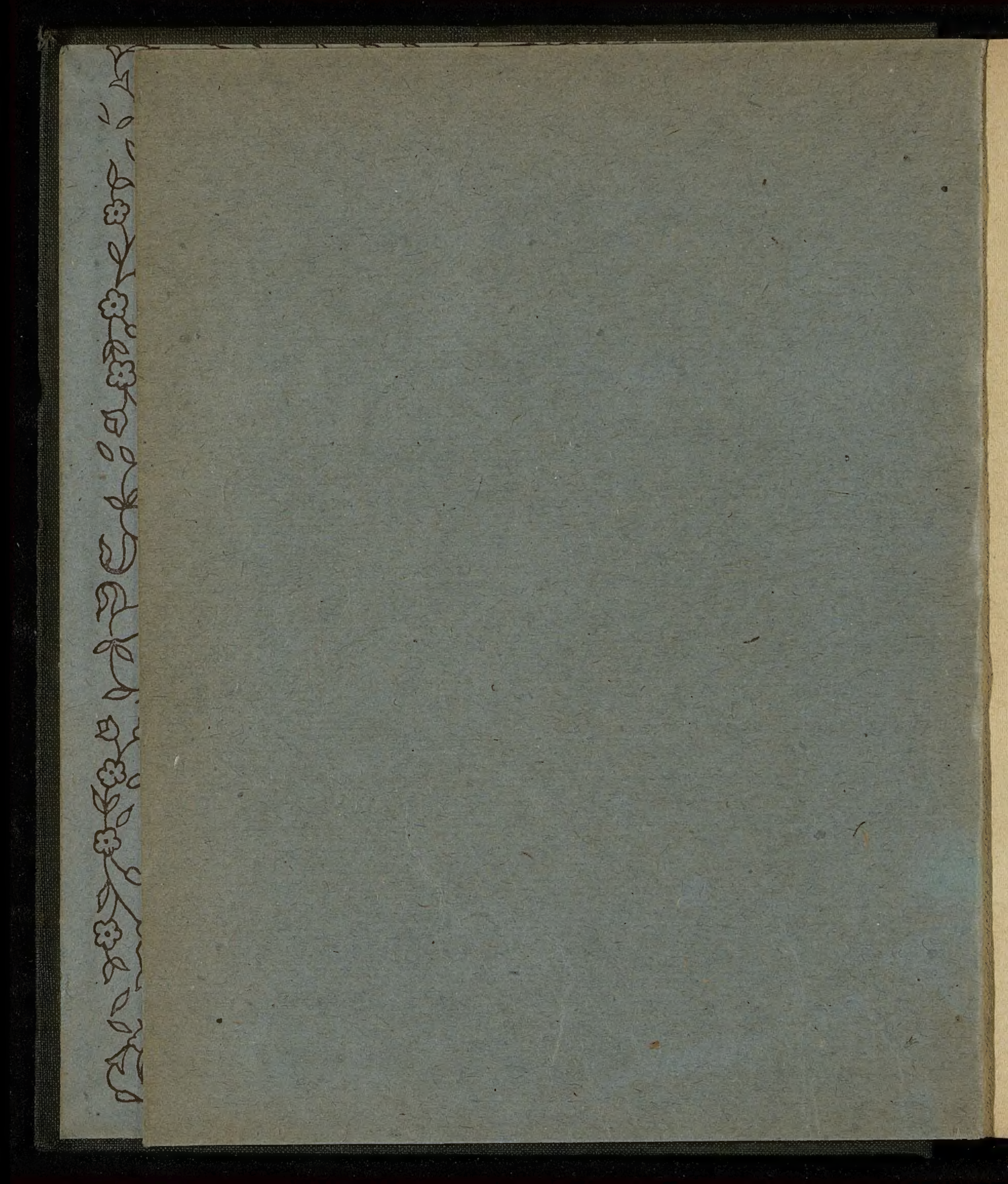


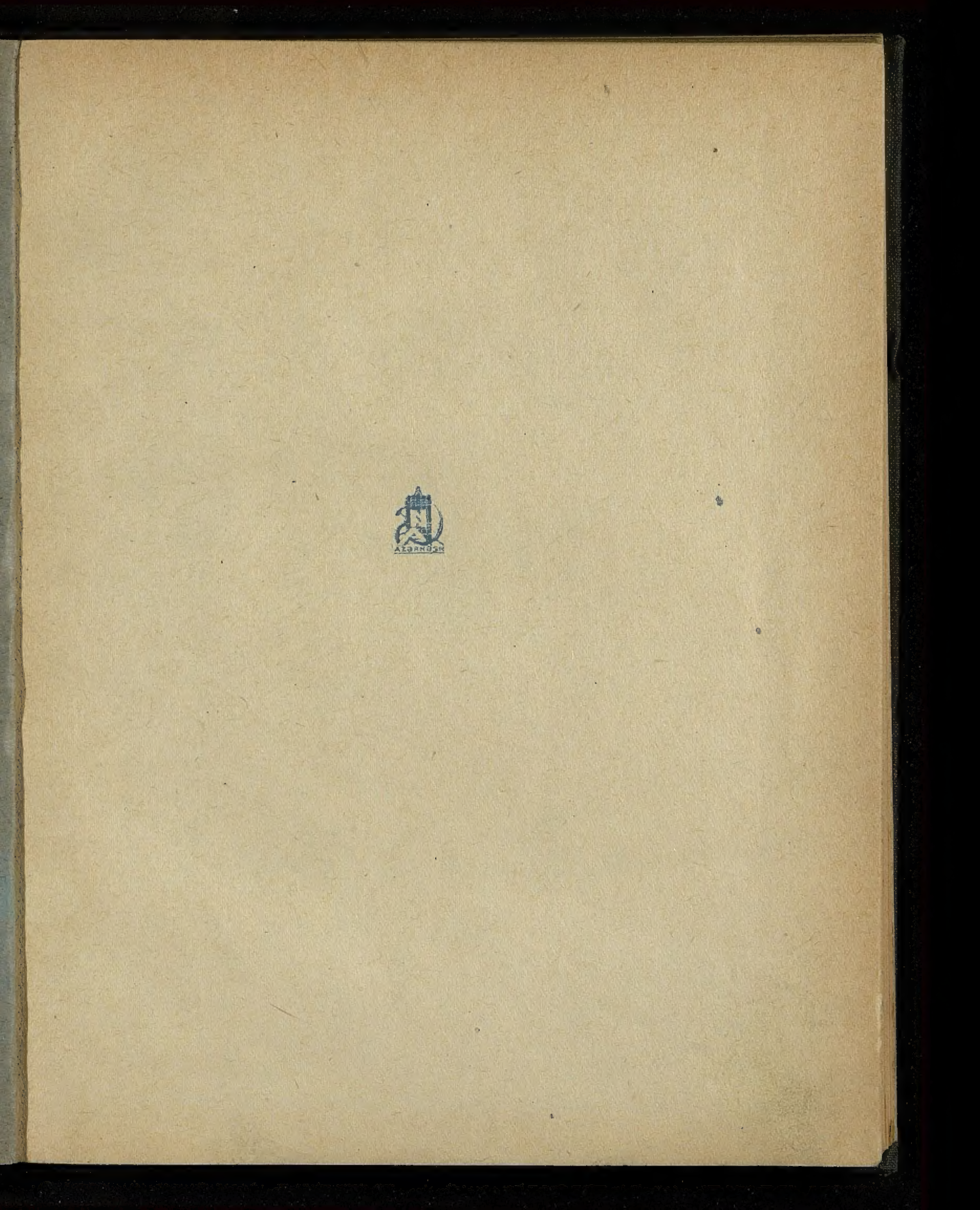
ОТЕЦ НАРОДОВ

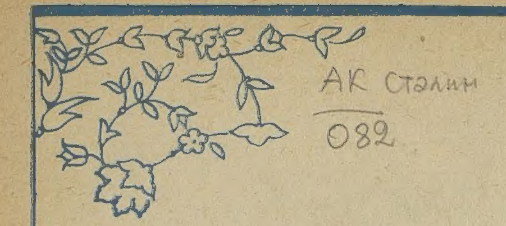



60


60




AZƏRNƏŞR



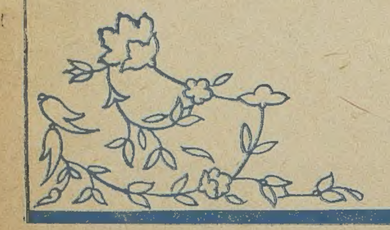
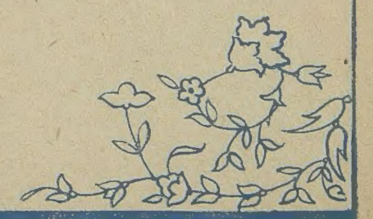

ОТЕЦ НАРОДОВ

Редакторы: *М. КАМСКИЙ*
Г. К. ШАРИФОВ
Ю. ГРАНИН



АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

БАКУ—1939

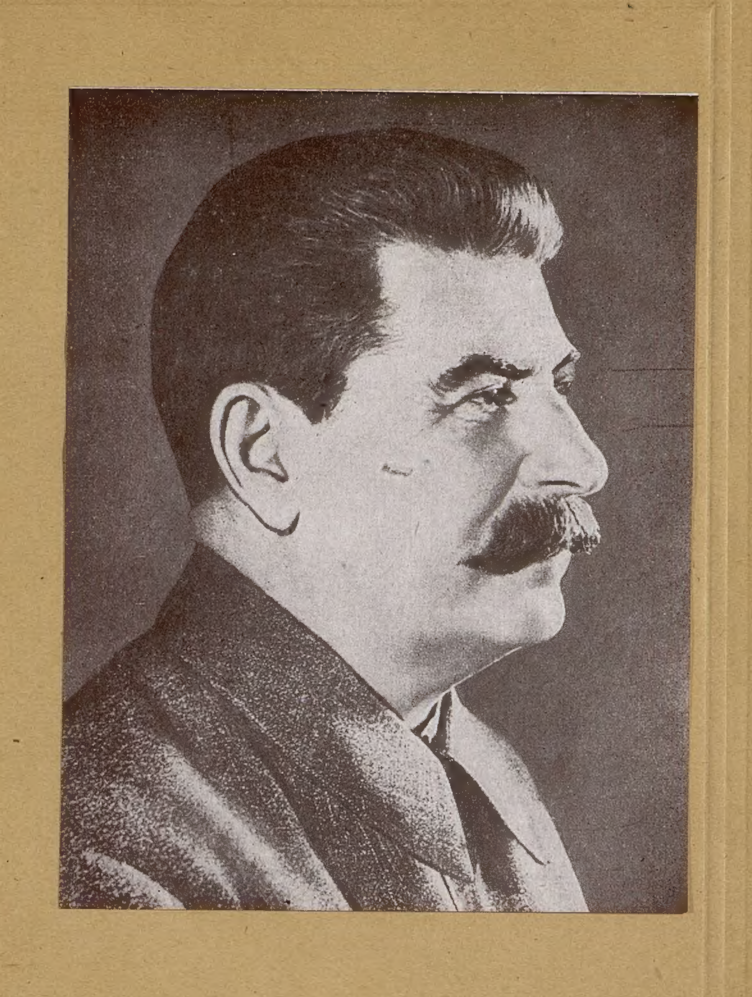
Обложка, форзец и титул художника Г. Халыкова

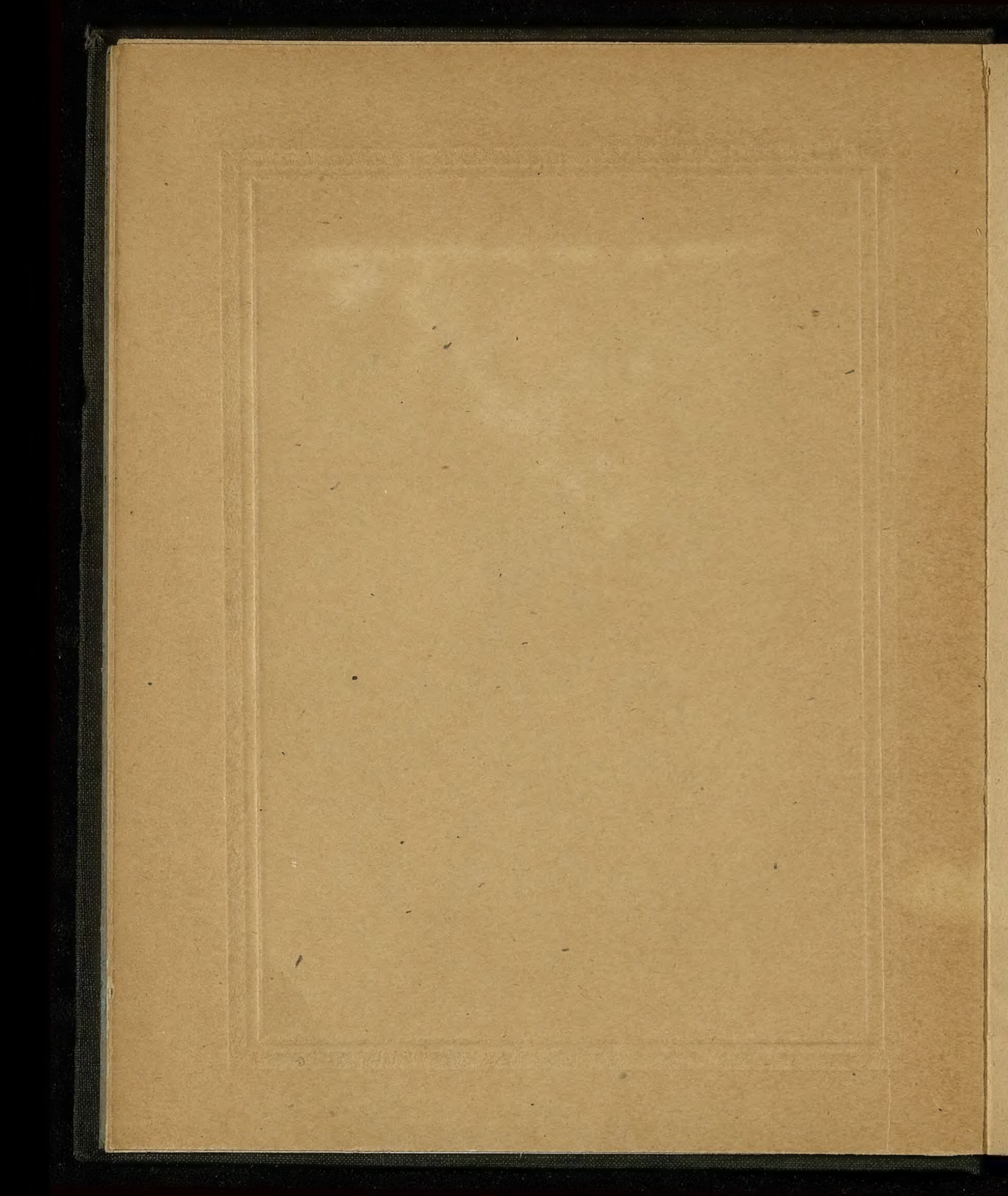
Техредактор З. М. Агаев
Корректор Л. Волотовскийаа

Сдано в набор 10/XII-39. Подписано к печати 16/XII-39. Печатных листов 8½. Формат бумаги 72×94¹/₁₆. Колич. знаков в печ. листе 22736. Уполномоченный Главлита № 9450. Азернешр № 810/20. Тираж 5000. Заказ № 963.

Тип. Азернешр, Дворец книги им. 26, Баку, ул. Али Байрамова.







СЛОВО СЕРДЦА

Вместо предисловия

Пенясь и нагоняя друг друга, бьются о берег волны старого Хазара, вздымаются к небу и с бессильным стоном падают вниз.

Все больше густеет охватившая мир тьма, а обжигающий лицо зимний мороз режет пальцы, словно острые осколки стекла

Воет суровый норд, путаясь в пропитанном мазутом черном лесе буровых, врезывающихся глубоко своими трубами в недра земли, с лязгом взлетают из скважин полные до краев желонки.

Черная кровь струится из серой груди земли, эти струи соединяются в реки и несутся вдаль.

Скрипят и жалобно стонут обшарпанные двери не видавших солнца древних лачуг. Скорбные лица спящих вповалку, закутанных в лохмотья, ребят напоминают покрытое тучами, плачущее небо.

Горным обвалом рушится темная гулкая ночь на головы барахтающихся, бьющихся людей.

Туже сжимаются открытые, словно пасть дракона, тиски, смыкаются их зубья, зажчмая город с торчащими кверху минаретами мечетей и крестами церквей.

Нарастает гул, тяжелеет мрак, словно желая подавить и землю и небо.

Быстрыми шагами идет по берегу юноша со спутанными, спадающими на лоб непокорными волосами.

Ни тяжкий камень тюремных стен, ни могильный холод темниц, ни ржавое железо решеток, ни терзающий слух звон кандалов, ни волчья злоба жандармов, ни лютые сибирские бураны не в силах сломить решимость юноши.

Напряженность времени выковала и закалила его волю.

Все вперед и вперед шагает юноша навстречу грохоту буровых. С доверием и надеждой поднимаются на него сверкающие в полумраке глаза людей. Он улыбается в ответ, говорит с ними.

Ветер раздувает полы его легкого пальто, холод врывается под одежду, а он продолжает путь.

За ним движутся люди, их становится все больше, и он, слыша идущих за ним, ощущает в себе огромную, несокрушимую силу.

Юноша останавливается... Его голос внятен и тверд.

— Умрем, но не свернем с пути!—отвечают ему.

А он поднимает руку, удерживает их:

— Надо быть бдительными, чтобы не умереть.

☆

Юноша спускается по каменным ступенькам. Внизу, за дверью, быстро кружится колесо машины, белая бумага покрывается ровными строками. Отпечатанные листы складываются в кипы.

Юноша здоровается с товарищами, берет лист, еще пахнущий свежей типографской краской, и подходит к столу.

Проведя рукой по заросшему подбородку, юноша при тусклом свете лампы читает оттиск написанных им горячих слов.

Лицо его светлеет.

— Правильно!—говорит он, повернувшись к стоящим возле него людям, и жмет им руки.

Кипы связываются и выносятся подмышками.

Листки расходятся по рукам, проникают в людскую гущу, пробуждают мысль, зовут и готовят к борьбе.

☆

Улица запружена народом.

Искры гнева вспыхивают в глазах, слова негодования вырываются из уст.

Люди в папахах и в картузах, женщины в чадрах и полушалках, старые и молодые, потоком движутся по улицам.

Впереди бережно несут на плечах покоющегося в гробу молодого рабочего. Его черные волосы зачесаны набок, завиты черные усики, сморщены густые черные брови, на осунувшееся мужественное лицо легла бледная тень.

Печально льется траурный марш.

Победно взвиваются звуки Интернационала.

Пронзительно воют сирены, гудят гудки.

Сытые купцы, разжиревшие промышленники, чопорные золотопогонники растеряны. Их охватывает тревога; глаза выпучены от ужаса и бессильной злобы...

Медленно и величаво шествует толпа, а впереди нее шагает юноша, окрыляя эту массу своею волей.

Вот и свежая могила. Юноша остановился у гроба.

— Товарищи! Эти жертвы зовут нас вперед! Зовут нас к завоеванию диктатуры пролетариата!... Этому учит нас Ленин...

В светлые дни все хороши. В тяжелые дни зови на помощь брата!..

Друзья, испытанные в беде, незаменимы! Это—кровные друзья, душевные друзья, сердечные друзья!..

☆

Весело сверкают волны старого Хазара. Берег пестрит цветами, наполняющими воздух своим ароматом.

В домах Баилова, в многоэтажных дворцах центра, счастливые матери баюкают своих младенцев.

В стройном лесу буровых не слышно скрипа желонки. В мозолистых руках—рычаги мощных машин.

Радостная улыбка расцветает на лицах людей, говорящих на разных языках, но имеющих единое сердце, людей, уверенных в завтрашнем дне.

Светлый мир, созданный юношей, сломил, раздавил, похоронил под собой мир мрака и тьмы.

И во весь рост стал перед своим народом ушедший от нас когда-то молодой рабочий; смертная бледность сошла теперь с его лица.

— Ханлар!..

Лучшие сыны возвращаются народу.

Вот Бабек, обнаживший меч против чалмоносных арабов!

Вот Кер-оглы, склонившийся к гриве скачущего Гыр-ата!

Вот Наби, вскинув ружье, мчится на сером коне!

Вот Низами, освобожденный из вражеского плена и вернувшийся к своему родному очагу!

Вот Физули, любующийся бессмертными „Лейли и Меджнуном!“

Вот Вагиф, гордо возвышающийся над „Джыдыр-дюзю“!

Вот Сабир глядит на красный Баку!

Но как и откуда вернулись они?

Кто их вернул?

И все поворачивают головы, устремляют глаза в одну сторону, единым дыханием произносят:

— Наш Коба! Наш Сталин!

Юноша стал отцом народов. Ему исполнилось теперь шестьдесят лет.

И народы снова несут свою любовь юноше, ставшему отцом народов.

И все, начиная от пастухов, стерегущих тучные отары овец, от землекопов, прорывающих канал-гигант Самур-Дивичи, до маленьких детей, только что начавших лепетать, —все шлют ему свой сердечный селям!

Многие миллионы сыновей и дочерей, не знающих горя и забот, шлют приветствия своему отцу.

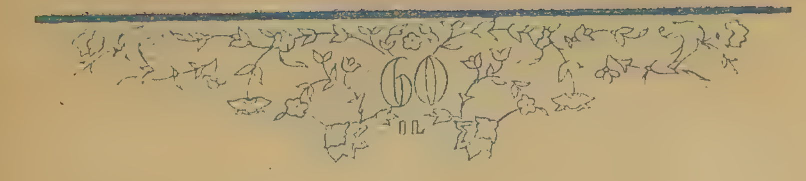
Ашуги, поэты, художники слова—каждый несет родному отцу св е слово, полное любви и благодарности:

— Живи долгие годы!..

☆

Эта книга—слово от сердца народа, вновь возрожденного к жизни, обретшего свою многовековую историю, получившего право на жизнь, на радость, на расцвет; слово от сердца тому, кто был его учителем и лучшим другом в тяжелые, трудные дни, кто засветил над ним яркое, негасимое солнце свободы и счастья.

Сулейман Рагимов



Мирварид Дильбази

КОБА

I

Уже в дремоту город погружен,
Глухие улицы окутал сон.
Все отдыхает, как всегда, в ночи,
Лишь в домике одном—огонь свечи,
Там, где неведомые мастера
Работают с утра и до утра,
А низкие оконца под луной
Не знают, что творится за стеной,
Не знают, устремленные в пустырь,
Что в доме перекраивают мир.
Тут, в окнах, занимается заря,
Тут роется могила для царя.
Белеет предрассветная луна,
И птицы отряхаются от сна.
И вдруг в окне запрыгали лучи
Последней догорающей свечи.
Но ни на миг не прекращая труд,
Среди листовок и бумажных груд,
Ступают люди, кипы волоча...
Вот оплыла последняя свеча...
Все мигом прибрано и там и сям,
И Коба обращается к друзьям:
— Путь впереди опасен и суров,
Задержат нас—не уберечь голов.
Друзья, мы духом падать не должны,
Мы для великой цели рождены.
Не даром на земле из века в век
Мечтает о свободе человек.—

И вдруг, откинув волосы назад,
На первый луч зари он бросил взгляд:
— Товарищи! Застоя в жизни нет:
За темной ночью следует рассвет.
Взгляните—за окошком через миг
Сверкнет трава, раздастся птичий крик,
Из мира сумрак отойдет тотчас,
И солнце, наконец, согреет нас.—
Выходит Коба из подполья в тьму,
Заря над миром чудится ему,
Полнеба облекается в шелка,
Хазар, ликуя, бьется в берега,
Листву деревьев шевелит зефир...
Каких красот не знает только мир!
За валом перекатывая вал,
Хазар, увидя Кобу, застонал,
Воскликнув словно:—Сохрани меня,
Неволя тяжелей день ото дня,
Богатства вод моих, щедроты недр,
Сокровища, которым счета нет,
И дочери, сыновья мои
В плену. Скорей нам руку протяни! —
А волны подымались, как хребты,
Приветствовали Кобу с высоты.
Сказал ему бунтующий Баку:
—Я много горя видел навеку.
Сними с меня печальный мой покров,
Освободи сынов моих—рабов.—
Уж много лет у моря слышал он
Сжигающий, глубокий этот стон.
Одни растут, те покидают жизнь,
Тот побеждает, кто вступает в жизнь.
Взгляни: она проснулась вновь с зарей,
Веселых пташек закружился рой.
И может ли затмить ночная тень
С востока занимающийся день?
И он шаги внезапно устремил
В ту сторону, где рокотал Баил.
В течение недели каждый миг
За ним следил неутомимый шпик.
Куда бы ни пошел он, каждый шаг
Выслеживали шпики на углах.
И, наконец, сегодня, как вчера,
За Кобою ступает тень с утра,

Покажется и устремится прочь ...
Но в домике, когда наступит ночь,
Не загорится одинокий свет,
И Коба в домик не вернется, нет!

II

О берег, возмущения полна,
Дробится белогривая волна.
Тут исстари, во мрак погружена,
Стоит у моря страшная стена.
За ней в печали, не смежая век,
Всю ночь сидит великий человек.
И думает он думу о земле.
И кажется, что за окном, во мгле,
Его дыханье слушает Баку,
Поднявшийся по первому гудку.
А волны стонут, волны камень бьют,
Крепчает ветер, тучи слезы льют.
Но безответна мрачная тюрьма,
Над башнями ее нависла тьма.
Глухие двери замкнуты давно,
Но за дверьми—зубчатое окно.
Как собственное сердце, из окна
Его безмолвно слушает страна.
Борца арест нежданный не сломил,—
Еще сильнее полюбил он мир.
В глазах огонь надежды не потух,—
Еще сильнее закалился дух.
Не потускнел огонь его идей,—
Таков закон негнущихся людей.
Крепки замки, тяжел тюремный кров,
Тут стынет человеческая кровь.
Но Коба, непреклонен и могуч,
Людей согрел, как животворный луч.
Он продолжал работу и в тюрьме.
Не угасает пламя и во тьме.
Уснул Баил, тосклив и нелюдим,
Лишь юный Коба бодрствует один...
Простая песня трепетней струны
Поет о горе отчей стороны,
Она парит, расправив два крыла...
Вниманье Кобы песня привлекла:
Твой отец идет в Сибирь,
В кандалах через пустырь.

Впереди и по пятам
Конвоиры тут и там.
Снег морозит кисти рук,
Посмотри, бело вокруг.
Цепи тяжки, длинен путь,
От пурги устала грудь.
Конвоирам нет числа.
Пуля жизнь оборвала,
Кровь стекла по сапогу,
И лежит отец в снегу.
Станешь взрослым, отомстишь,
Поспевай расти, малыш!
Слышишь, плача и скорбя,
Родина зовет тебя!
Как много эта песня говорит!
Над колыбелью плачет мать навзрыд.
И властвует над городом напев,
И кажется, весь мир, оцепенев,
Прислушался к дыханью бунтарей,
К печальному напеву матерей.
Голодными волками до утра
Свирепствуют осенние ветра.
С времен далеких так заведено—
Метель и голод ходят заодно.
А Коба в сумрак устремляет взгляд,
Глядит кругом, как арестанты спят:
Один в лохмотьях съежился в углу,
Другой дрожит, озябнув, на полу.
Но вот раздался еле слышный крик:
Поднявшись с пола, сгорбленный старик
Просил воды—хотя б один глоток,
Но пошатнулся и свалился с ног.
Ему казалось—в пламени Баил...
Водою старца Коба напоил.
И молвил:—Словно соколы вольны,
Смелы отцы народа и сильны.—
Старик, напившись, радостно вздохнул,
На Кобу с благодарностью взглянул.
И молния сверкнула из-под век,
Сказал он:—Сын мой, беспощаден век.
Сухи ресницы наши от огня,
Мы с веком бились, палачей кляня.
В душе народной—вездесущий див,
Ты прав, народ отважен и правдив.

Мы падали, но не склонялись, нет!—
Затем, вздохнув, добавил:—Вот он, след
Подарков царских: каждый этот шрам
О днях борьбы рассказывает нам.
Но старость, старость встала на пути,
Нехватит сил опять вперед итти.
Ты смел и прям, в тебе притворства нет,
В твоих глазах—души великой свет.
Ты юноша, но многое видал,
Поведай мне, за что в тюрьму попал?—
Ответил Коба:—Рабство на земле,
Страдают люди в холоде и мгле.
Один без хлеба трудится всю жизнь,
Другой для неги строит этажи.
Тот бедный раб, а этот—господин.—
Старик, вздохнув, задумался:—Мой сын,
Слова твои—души твоей родник.—
Вся камера проснулась в этот миг.
Тюремной стужей скованы тела,
Но узников беседа привлекла.
Полночный ветер выл и бушевал,
И ни один из узников не спал.
Глаза сверкали, мщением грозя.
Он говорил:—Запомните, друзья,
Над миром не поднимется заря,
Пока народ не порешит царя.
Не ждите благодати от господ,
Мечты прекрасной радужный восход
В темницах черных будет пропадать,
А дети наши—гибнуть и страдать.
Работа—наша, но богатства—их,
Наш—урожай, однако яства—их.
Восстание—другого нет пути,
Чтоб счастье человечеству найти.—
Все взоры устремились на него:
Как величав рассказ был огневой!
Так значит, дни отрады впереди
И нет врагам пощады впереди.
Старик, остановив на Кобе взор,
Спросил его:—Где был ты до сих пор?
Что раньше не явился ты на свет?
Мы столько горя знаем, столько бед...
Надежду нам твой голос подает,
Скажи, когда для нас заря взойдет?—

Старик навеки Кобу полюбил,
Дороже сына старику он был.
А Коба говорил ему:—Поверь,
В грядущее мечом проломим дверь.
Фундамент рабства шаток, стар и гнил,
Готов он рухнуть в пропасти могил.
Чтоб жизнь была отрадна и светла,
Оружьем надо сжечь его до тла.
Оружье—вот единственный исход.
Над миром должен властвовать народ!—
Услышав это, узник молодой,
Тартальщик, породнившийся с бедой,
Сказал:—Хочу войти я в твой кружок,
Я видел много горя и тревог.
Я будущим прекрасным дорожу,
Тебя в борьбе опасной поддержу.
Ты угнетенным—верный брат и друг.—
И узники смыкаются вокруг,
В сердцах призыв к восстанию горит,
И „Марсельеза" грозная гремит.
Она зовет к восстанию народ
И предвещает солнечный восход.
Но дверь скрипит и лязгает затвор,
Вбегает стражник:—К чорту разговор!
Отставить песни в неурочный час!—
— Мы похоронный марш поем для вас,—
Ответил Коба. Тучный фараон,
Ответом горделивым разъярен,
Кричит:—А ну, не разглагольствуй тут,
Бери пожитки. Скоро будет суд.—
Смыкаются в суровый круг друзья,
И „Марсельеза" ширится, грозя.
Она растет, как зарево, горя,
Она зовет смести с земли царя.
Уходит Коба, стражами гоним,
Но вслед ему гремит могучий гимн.

Угрюмый свод над залом нависал...
Вот Коба твердым шагом входит в зал.
Он в зале возвышается один,
Как над толпой пигмеев исполин.
На миг судей обуревает страх.
Он все растет, растет на их глазах.
Откашлявшись, едва набравшись сил,
— Где типография?—судья спросил.

Рукой на волю Коба указал,—
Как-будто гром ворвался в этот зал:
— В любом дому подполье наше есть,
Подпольных типографий вам не счесть.—
— Молчать! Хитер и путан твой ответ.
Ты создал типографию, ты?—Нет,
Рукой народа создана она.—
— Ты всюду сеешь смуты семена.—
А Коба снова отвечает:—Нет,
Рабочий знает сам, где мрак, где свет.—
Судья, ярясь, метался перед ним,
А юноша стоял невозмутим.
— Молчи, тебе грозит тюрьмой закон.—
— Лишь совесть и отвага—мой закон.—
Судью трепал, как лихорадка, гнев,
Но злобу и обиду одолев,
Судья сказал, бумаги теребя:
— Сибирь давно скучает без тебя.—

III.

В то пасмурное утро неспроста
Шла тягостная весть из уст в уста.
Баку лежал, в печали распростерт,
И скорбно завывал осенний норд.
Удар был неожидан и суров,
Но всколыхнулись люди промыслов,
Вопрос о стачке смело был решен,
Рабочий каждый был оповещен,
И все заводы стали по гудку.
И забастовка началась в Баку.
Кругом народ, как грозовой поток,
Захватывал все вдоль и поперек,
Как будто бы со всех концов земли
К Баилу толпы непрерывно шли.
Хлестало знамя красное в глаза,
И песня нарастала, как гроза:
Целый мир и знамя—наши,
Вечно сила с нами наша.
Если гневом мы пылаем
Кто потушит пламя наше?!
А на Баиле крики из тюрьмы
Рвались на волю пламенем из тьмы.
В замшелых стенах пробивая брешь,
Там арестанты подняли мятеж.

Столпились арестанты у ворот,
Их песнями приветствовал народ.
Борцы жандармов посшибали с ног,
Пустился полицмейстер наутек,
Просил казаков слать ему скорей,
Чтоб усмирить клинками бунтарей.
Казачьим эскадронам нет числа,
Но движутся упрямо промысла.
Внезапно под тюремною стеной
Раздался крик:—Ни шагу дальше! Стой!—
Но не сдержать разгневанный народ,
Он движется уверенно вперед,
Народ не сломят сабли и картечь.
Рабочий держит пламенную речь:
— Товарищ Коба, мы готовы в бой,
Народ пойдет в сраженье за тобой.
Нам не страшны тюрьма и кандалы,
Когда сердца отважны и светлы.
Мы в прах развеем ненавистный трон,
Мы установим солнечный закон.—
Рукоплесканья взвились шумно ввысь,
В ответ слова призывом донеслись:
— Мы снимем кандалы и сохраним
Царю и верным псам его цепным.—
И эта речь для каждого близка,
Для друга—щит, граната—для врага.
Ворота открываются—и вот,
Выходят арестанты из ворот,
И Коба с непреклонной головой,
А впереди и позади—конвой.
И говорит он:—Не свести на-нет
Тех, что трудом создали белый свет.
Сегодня-завтра царский трон падет.
Все—преходяще, вечен лишь народ.
Борцам за дело правое привет!—
Большевику великому в ответ—
„Интернационал“ гремел вокруг.
Жандармы Кобу окружили вдруг
И увели неведомо куда,
На север, где тайга и холода.
Но все равно—Баку или Сибирь,
Когда его отчизна—целый мир.



Самед Вургун

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

Сталин мой дорогой! Вдохновитель и вождь!
Ты свободы моей и страны моей мощь!

Была холодная январская ночь. Суровый бакинский ветер, стуча в окна, словно кричал—„Не спите!“. Но все в доме были погружены в сладкий сон; один я, охваченный душевным волнением, не смыкал глаз.

Завтра едем. Едем в Москву, в Кремль, к Сталину... Не всегда это бывает уделом человека.

Бывают минуты, когда сердце прислушивается лишь к собственному голосу. Ни разум, ни воля не могут подчинить его себе!

И к чему подчинять?

Разве сердце не частица их? Разве оно бьется не для жизни и счастья? Разве не живет оно ожиданием грядущего, созданием великих дел и идей?

Сердце создано для свободы и счастья!

И оно делало свое дело, учащенно билось чувством огромного счастья.

Неумолчно твердило мне:

— Москва.. Кремль... Сталин!..



Итак, завтра в дорогу! Но с чем? С чем еду я?

С чем же может ехать поэт?

Со стихами!

И не муза ли не дает мне сомкнуть очей? Да! Это—она.

В это мгновение слабый, до сих пор незнакомый мне звук нарушил тишину дома. Он впервые раздается здесь. Какой он нежный, какой родной!

963—2

Это первый младенческий голос, раздающийся в моей квартире. Три дня тому назад я еще не слышал этого голоса. Счастье следует за счастьем! Сегодня стать отцом маленького сына, а завтра рукою сына пожать руку отца народов!

Я вскочил с постели.

Письменный стол, словно магнит, притянул меня к себе. Припав грудью к столу, я писал. Мне казалось, сама бумага светится радостью, и ручка быстро скользит по ней. Прошли первые минуты волнения, и на белом листе засверкали ряды строк.

В заглавии стояло: „Привет Вождю".

☆

Поезд отошел со станции Баку утром. Нас было больше шестидесяти человек, представителей Азербайджанской Советской Социалистической Республики.

Мы ехали в Кремль, для встречи с руководителями партии и правительства, в связи с 15-летием нашей Республики. Какая высокая честь быть посланником народа!

В поезде царили радость и оживление. Лица сияли счастьем, сердца ликовали, глаза сверкали улыбкой.

Многим из нас это путешествие казалось радостным сном. И мы то и дело спрашивали друг друга:

— Неужели мы едем в Москву? И мы увидимся с товарищем Сталиным?

Трое суток мчался наш поезд на север. За окнами, мелькая, проносились горы, леса, равнины, города, станции...

Трехдневный путь не долог. Но в ожидании время тянется бесконечно. Часто раздавались нетерпеливые восклицания:

— Скорей бы Москва!

На утро четвертого дня поезд остановился на последней станции. Во всем своем величии простиралась перед нами Москва!

Город чудный!

Город древний!

Город, не склонивший головы перед полчищами Наполеона!

Город, выпестовавший в своих объятиях бессмертного Пушкина!

Счастливый город, в груди которого покоится прах бессмертного Ленина.

Город, над которым развевается знамя свободы человечества! Не ты ли озаряешь вдохновением сердца, сознанием умы?

Москва, сломившая национальные и религиозные преграды, единая родина трудящегося человечества, красная столица приветлива и гостеприимна.

Москва—олицетворение великого русского народа.

Огромная любовь к труду, искренняя дружба ко всем народам, гордость и простота, стремление протянуть каждому руку помощи, передать свою мудрость и знания, любовь и уважение к памятникам человеческой культуры—все это делает Москву великой и родной.

Соколом сердце летит сквозь небес синеву,
Пылкий привет посылает в родную Москву.
Красная площадь, есть тайная сила в тебе!
Сердце мое ты всегда привлекаешь к себе!

Каждый, кто верно чувствует и понимает Москву, кто в своем пульсе чувствует биение сердца этого города, проникается к ней особенно нежной сыновней любовью.

Москва—это дворец свободы и счастья, воздвигнутый на камнях разрушенного мира рабства!

Мы уверены, что все человечество придет любоваться этим новым дворцом.

Два дня мы отдыхали в этом прекрасном городе. Волны ее бурной, как море, жизни, подхватили и нас.

Как быстро летит время в Москве!

На третий день, около часу дня, мы прошли по Красной площади. Если сравнить Москву с живым человеком, то эту площад можно бы назвать грудью. Она напоминает грудь победителя-богатыря, сильную и спокойную.

Перед нами Кремлевская стена, немой свидетель минувших дней.

Она стоит торжественно и величаво, кольцом окружая Кремль. Если сравнить Кремль с живым человеческим сердцем, то эту стену можно бы считать грудной клеткой, охраняющей сердце.

И в самом деле, Кремль—сердце нашей великой родины. Разве не это огромное сердце питает кровью весь организм нашей необъятной страны.

А вот и мавзолей, при виде которого человек погружается в глубокие думы. Этот священный памятник, весь из красного мрамора, так величественен и многозначителен, что перед ним опускаются крылья мысли и сердце бьется в глубоком молчании.

Особенно тяжелое раздумье и нежная грусть охватывают душу, когда наступают сумерки.

Спустившись по ступеням мавзолея, останавливаемся у гробницы. Невольная дрожь пробегает по телу. Многие, не выдержав, безмолвно плачут. Это—гробница величайшего сына человечества—Ленина.

Его светлый, широкий лоб, ясное, как солнце, лицо продолжают озарять сердца людей.

Кажется, будто он спит! Нет, нет! Тень смерти на бледном лице так не идет к великому человеку.

Не смерть, а жизнь живет в гробнице той,
И полон силы Ленина покой.
Та тишина—не тишина могил!
Так скажет всякий, кто туда входил.
Там сила входит в честные сердца
От нашего учителя, отца...
Все страны света шлют сюда послов—
Край белых льдов, край огненных песков,
И край дождей и край дубовых рощ...
И вот стоит на мавзолее вождь—
Великий Сталин, лучший большевик!
Он Ленина мудрейший ученик.
Гремит, сверкает и поет парад.
Идут полки, сердца у нас горят!
Идут народы славу заслужив,
И видит мир: великий Ленин жив!

Да, герой, победивший своими идеями смерть, гений, подаривший жизнь миллионам людей, могучая воля, вырвавшая их из когтей нищеты и гнета, давшая свободу и счастье,—не может умереть! Чем старше будет становиться человечество, чем более высокой ступени достигнет оно, тем роднее и величественнее будет для него Ленин.

И когда над миром взовьется знамя коммунизма, бессмертный образ Ленина будет возвышаться в едином сердце человечества. А это и есть вечная жизнь. Если бы жизнь всех людей походила на эту, слово „смерть“ было бы вычеркнуто из словаря.

Мавзолей, этот священный памятник, находится в самом сердце нашей столицы. Наша бескрайняя родина, как зеницу ока хранит его. Об этом лучше всего говорят народные демонстрации на Красной площади.

Когда Красная площадь надевает на себя праздничный наряд и когда гремят радостные песни победителей, мавзолей пылает в багряных лучах, и его вид больше не погружает сердца в печаль. Тогда этот великий символ сво-

бодного и счастливого мира ликует и смеется среди всеобщей радости.

И с именем Ленина на устах, с ленинской любовью в сердце, с ленинским знаменем в руках весь народ проходит перед мавзолеем, демонстрируя перед всем миром мощь победоносного ленинизма.

И когда товарищ Сталин, взойдя на мавзолей, приветствует рукой демонстрантов, стены древнего Кремля сотрясаются от взрывов рукоплесканий, криков „ура", восторженных приветствий трудящегося народа.

Когда, заложив правую руку за борт шинели, он стоит подобно несокрушимой скале, кто не прочтет в его лице мудрости, спокойствия и величия гения Ильича!

Дружба Ленина и Сталина!

Кто не возьмет примера с этой дружбы—идейной дружбы двух величайших гениев, созданных человечеством!

Какая это глубокая поэтическая тема! Великая тема истинного гуманизма! И поэт, сумевший воплотить ее в художественный образ, может считать себя счастливым!

Несомненно она останется лучшей темой как для современных, так и для будущих поэтов.

Дружба Ленина и Сталина—это великая школа, продолжающая дружбу Маркса и Энгельса.

В истории человечества было не мало героев. Но воспитанный в классовом обществе герой выше всего ставил обычно собственное „я". Этот эгоизм—самая тяжелая и длительная болезнь, которой страдало человечество...

То, что Наполеон, отдавая богу небеса, оставлял себе землю,—одно из проявлений этого эгоизма.

Основа же дружбы Ленина и Сталина в том, что оба гения интересы и счастье народа ставили выше своей личной жизни.

Эта великая дружба—невиданная в истории новая страница.

Из этого благодатного источника мы черпаем неиссякаемую животворящую силу.

Перед нами гостеприимно распахнулись двери Кремля.

Часовые, вежливо и внимательно посмотрев наши удостоверения, пропустили нас. Их любезность и дружелюбие, их частые „пожалуйте" были так приветливы, словно и они участвовали в нашем торжестве, радовались и ликовали вместе с нами.

Мы собрались в одном из кремлевских залов. В свете электрических лампочек зал отливал молочной белизной.

Он был чист, светел и прост. Это придавало ему особую прелесть. Царила глубокая тишина. Мы сидели в ожидании, улыбаясь и нервно переглядываясь друг с другом.

Открылась дверь.

Волнуясь, мы оглядывали зал.
Волнуясь, я ни слова не сказал:
Я зарыдать боялся в этот час!
В моей груди пел звонкий, звонкий саз!
Как будто превратилась кровь во мне
В звенящий саз, поющий о весне!
Мы ждали Сталина, и он вошел—
И людям городов, аулов, сел
Вдруг стало просто, хорошо, тепло,
Как будто утро ясное пришло.
Он прям и светел—наш народный вождь.
Он доброта, и мужество, и мощь.

Впереди шел товарищ Сталин; хотя шаги его были довольно крупны, но ступал он тихо. Его походка напоминала поступь льва. Его стальная грудь, видавшая битвы, все еще хранила юношескую, богатырскую мощь и величие.

За ним следовали его ближайшие соратники—богатыри пролетарской революции: товарищи Молотов, Орджоникидзе, Каганович, Микоян, Ворошилов, Андреев, Калинин.

Они встали за покрытым бархатом столом. Долго не смолкали в зале аплодисменты и крики „ура“, „да здравствует товарищ Сталин!“, „да здравствует советский Азербайджан!“

Наконец, наступила тишина.

От имени партии и правительства товарищ Молотов открыл заседание. В его лице отражались простота и искренность большого и чистого сердца.

Наше волнение улеглось. Неловкое молчание и связанность движений сменились непринужденным оживлением. Дружески ласковое отношение к нам вождя и его соратников, задаваемые ими вопросы, отдельные реплики, порой вызывавшие всеобщий смех, все это создало атмосферу, в которой каждый из нас чувствовал себя совершенно свободно. Простота, умение подойти к массам и найти с ними общий язык, умение слиться с этими массами—одно из лучших качеств большевистской школы, школы Ленина—Сталина.

Это гениально выражено товарищем Сталиным:

„Скромность украшает большевика“.

Так оно бывает и в природе. Пустой колос тянется вверх, налитой клонится книзу.

Существует старинная азербайджанская пословица, образно выражающая эту мысль: „Чем больше плодов приносит дерево, тем ниже склоняет оно голову“. Есть и другая пословица: „Сиди спокойно, прибавишься в весе“. Товарищ Сталин очень любит азербайджанские народные поговорки и при случае пользуется ими.

Тут я хочу сделать небольшое отступление.

Товарищ Сталин жил в Азербайджане еще в молодые годы. С тех пор прошло более 30 лет. И, тем не менее, он не забыл пословицы: „Сиди спокойно—прибавишься в весе“. Видно, она произвела на товарища Сталина сильное впечатление еще в пору его молодости, когда он был так же скромен, как и теперь.

Не отрывая глаз от товарища Сталина, я следил за его словами, движениями, взглядами. Товарищ Сталин был в постоянном движении: то вставал с места, то садился, то осматривал приготовленные для представителей подарки: патефоны и часы, то, наклонившись, говорил что-то на ухо товарищам Молотову и Ворошилову, то заносил заметки в свой блок-нот, задавал вопросы, отвечал говорившим.

Быстрота и живость движений, мощь и сила, звучавшая в голосе товарища Сталина, указывали на неисчерпаемую энергию этой великой души.

Товарищ Молотов предоставил слово ораторам.

Выступило до десяти делегатов. Они говорили на азербайджанском языке, а затем речи переводились на русский. Присутствующие, и особенно товарищ Сталин, с огромным вниманием слушали выступления делегатов и главным образом азербайджанок. Героиня колхозница Алмас Алиева, девушка инженер Таира Таирова и летчица Сона Нуриева говорили так просто и непринужденно, как будто находились у себя дома.

Эта плавная речь наших девушек—говорила о новой свободной женщине Азербайджана.

Свобода женщин—одно из величайших достижений Пролетарской революции на ближнем Востоке. Вот, что сказал по этому поводу покойный товарищ Орджоникидзе, „освободитель Азербайджана“, как назвал его товарищ Сталин:

—„Сегодня, слушая речи делегатов, в особенности выступления товарищей тюрчанок,—возьмете ли вы колхозницу товарища Алмас Алиеву, которая здесь говорила, или

летчицу товарища Сону Нуриеву, или инженера из научно-исследовательского института товарища Таирову,—и сравнивая с тем, что было тогда—28 лет тому назад или 15 с лишним лет назад,—особенно ярко и наглядно видишь огромнейшую разницу! Вместо забитой, никем не признаваемой за человека тюрчанки, мы видим сейчас смелую, свободную колхозницу, летчицу и научную работницу-инженера. Это, по-моему, одно из самых больших достижений нашего Азербайджана".

Эту свободу, это счастье женщин Азербайджана отметил в своей речи и руководитель советского правительства товарищ Молотов.

— „Больше всего видно значение победы советской власти на примере азербайджанской женщины, освобожденной от закрывавшей глаза чадры, ставшей на путь культурной жизни и получившей возможность итти в ногу с самыми передовыми людьми Советского Союза".

Слова товарища Молотова были встречены бурными, долго не смолкавшими, аплодисментами.

Под впечатлением этих высказываний об азербайджанской женщине написаны следующие строки в поэме „Басти":

...Басти! В тот миг взглянул я невзначай
На профиль твой, на скромный келагай
На черных волосах, на жаркий глаз,
На жизнь твою, на твой счастливый час,
На лоб, на приоткрытые уста—
И вдруг я понял слово
„красота!"
Ты преданно глядела на того,
В ком наша честь и наше торжество,
Кто нас ведет дорогою побед,
Кто женщине открыл широкий свет...
Басти, что прежде было бы с тобой?
Была бы ты восточною рабой...
Состарилась бы в горькой нищете.
Теперь страна не та, и мы не те!
И вождь великий на тебя взглянул,
Перед его глазами промелькнул
Твой славный путь. И улыбнулся вождь...
Он доброта, и мужество, и мощь!
Вот вспыхнул орден на твоей груди.
Широкая дорога впереди!

И золотые на руке часы—
Подарены не для пустой красы,
А чтоб всегда ты помнила о том,
Что в золотое время мы живем!
Я был с тобой, и я стихи читал.
Блистал передо мной Кремлевский зал,
И в нем дышал народ страны родной,
Как дышет море в теплый день весной...
Я говорил, и это слышал вождь.
Он доброта, и мужество, и мощь.

Среди делегатов находилась и стахановка совхоза Карачала, агроном товарищ Кремлева. Эта героическая дочь великого русского народа на свойственном ей простом языке рассказала о достижениях своего совхоза на хлопковом фронте.

Товарищ Сталин задал ей ряд вопросов.

Сталин: Давно ли работаете в Азербайджане?

Кремлева: С 1925 года, с того времени, как я окончила ВУЗ.

Сталин: И все время в Карачала?

Кремлева: Да, все время в Карачала.

Сталин: А азербайджанский язык изучили?

Кремлева: Изучила.

Сталин: Основной район—Мугань?

Кремлева: Да, основной район египетского хлопчатника Мугань!

Сталин: Не все районы освоили египетский хлопок?

Кремлева: Не все районы еще освоили, но египетский хлопок в Мугани везде уже есть. Я даю обещание приложить все свои знания, опыт и труд для того, чтобы достигнуть мировых рекордов урожайности египетского хлопка.

— Да здравствует наш великий вождь товарищ Сталин!

Все присутствующие в зале, поднявшись с мест, долгими, бурными аплодисментами приветствовали товарища Сталина. Раздавались восторженные крики: „Ура“, „Привет товарищу Сталину“, „Да здравствует товарищ Сталин!“

Товарищ Молотов предоставил слово мне. Когда я направлялся к трибуне, он спросил:

— Нужен ли переводчик для вашей речи.

— Нет, товарищ Молотов,—ответил я.—На обоих языках буду говорить я сам.

— Пожалуйста!

Мне надо было и речь произнести и стихи прочитать, поэтому я стал говорить по-русски:

— Дорогие товарищи! У нас есть предание, что в Шемахинском районе Азербайджана существовал когда-то родник вечности. Вода этого родника, якобы, делала человека бессмертным. Напился этой воды пророк Илья. Но, будучи, как и все пророки, эгоистом, он скрыл этот родник от других людей и улетел из этого района, сказав, что в тяжелые времена ислама вернется

Прошли глухие столетия, азербайжанский народ долго страдал под игом завоевателей, а „святой" обманщик пропал и так и не явился. Легендарный родник был затоптан завоевателями, проходившими по этому району. Но трудовое человечество из своей среды, своей кровью и молоком создало реальных спасителей угнетенного мира, реальных и верных капитанов земного корабля—Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

Товарищи, сейчас я чувствую, с какой великой радостью бьется мое сердце. Биение моего сердца—это приветственные аплодисменты всей советской интеллигенции великому инженеру человеческих душ—товарищу Сталину и его верным соратникам—товарищу Молотову, Калинину, Ворошилову, Орджоникидзе, Микояну и Кагановичу!

Я очень счастлив, что имею возможность прочесть свое стихотворение перед любимым, родным вождем.

Раздавшиеся в зале приветствия, казалось, говорили:

— Читай же стихи!

И я прочел свои стихи сначала на азербайджанском, а затем на русском языках:

От звезд, проплывающих над Баку,
От женщин, не знавших чадры на веку,
От крыл журавлей, что звенят наверху,
И песен, что множат струну на строку,
Где солнце восточных ворот на-чеку,
Где дни, словно спелые дыни, в соку,
Где чувству свободно и языку,
От той, кто со мною—щекой о щеку—
От медленных лет и от быстрых секунд
Привет тебе, лучшему большевику!

Ты—въ явь превративший предвестия строк,
Ты—нового мира приблизивший срок;
Слагает историю каждый твой слог,
Но к детям склонен, матерински, не строг,

Ты сердце живое любовью зажег,
В день добрый ты жизни ступил на порог!
И я, часовой твоих войск вдалеке,
Я чую, как,—сосредоточенный здесь—
На этой непоколебимой руке,
Как бьется он, пульс миллионов сердец!
От медленных лет и от быстрых секунд
Привет тебе, лучшему большевику!

В напевах вечерних лепечущих вод,
В счастливых словах материнских забот
Есть нового смысла высокий восход;
И горы теряют угрюмый налет,
И—воском—с полей растопляется лед,
И труд набухает из завязи в плод,
И свечек мечети развеян дурман,
И женщин распрямлен согнувшийся стан,
Им больше не страшен ни джин, ни шайтан,
Ни плеть, ни молла, ни кулак и ни хан.
От рук загорелых, что нынче в чести,
От памятника двадцати шести,
От медленных лет и от быстрых секунд
Привет тебе, лучшему большевику!

Цветами цветут наши годы и дни;
Ширвану, Мугани и Милю сродни;
В горах и долинах пунцовая рань:
Пахнет апельсинным цветком Ленкорань,
Нуха расцветила шелками дворы,
Чернеют каймою кубинцев ковры,
Под камнем дорожным сверкает руда,
Роднится с тобою величье труда,
И движутся рядом—щекой о щеку—
С рабочей Москвою рабочий Баку.
Ведь наши и воздух, и жизнь, и земля!
Ворота Востока—в воротах Кремля!
Ведь к солнцу направлен наш караван!
И солнечный луч нам водителем дан.
От тех, кому лица забронзовил свет,
От солнца, от сердца, от силы—привет!
О сталинском имени—всюду молва,
Но это не славы обычной слова,
Оно вызывает великую страсть,
И страсти той имя—народная власть.

Читая стихи, я время от времени переводил глаза на товарища Сталина. Он слушал с большим вниманием.

Может ли быть большее счастье для скромного поэта!

А слова товарищей Микояна и Ворошилова—„Ваши стихи прекрасны"—наполнили мое сердце неописуемой радостью. Окончив чтение, я подошел к товарищу Сталину, и он пожал мне руку. Сколько силы и чувства было в этой руке!

Впервые в жизни я пожимал руку отца-вождя.

Моя рука в твоей. О, долгожданный миг!
В глазах твоих сверкает мысль, как солнца луч.
Ты гордостью и добротой своей велик,
Ты глубже неба, выше гор, душой могуч,
В глазах твоих сверкает мысль, как солнца луч.

Протягивая мне руку, товарищ Сталин спросил:

— Товарищ Самед Вургун?

— Да, товарищ Сталин.

— А ваша фамилия?

— Векилов.

— А по-азербайджански как?

— Векил-заде!

И я прошел на свое место.

Товарищ Молотов произнес заключительную речь, закончив ее словами:

— Яшасын Азербайджан зэхметкешляри![1]

Эти его слова, произнесенные по-азербайджански, выражали любовь и уважение наших славных руководителей к азербайджанскому народу, завоевавшему под знаменем Ленина—Сталина свободу и счастье.

Прошло четыре года с того незабываемого дня. Я все еще чувствую в своей руке теплоту руки Вождя.

Эти четыре года были самыми плодотворными годами моей работы.

Я живу и творю неугасимым вдохновением, которое зажгла во мне встреча с великим Вождем:

Спрошу у ветра, у густых ночей,
У тихих звезд, у солнечных лучей:
Неужто же умрет, покинет свет,
Такое счастье ведавший поэт?

10/XI-39 г.
г. Баку.

[1] Да здравствуют трудящиеся Азербайджана.



М. Джаббар

МАТЬ

— Гюльназ!—крикнул вестовой у дверей.

Мать вскочила и, подойдя к нему, проговорила голосом, полным страха и тревоги:

— Это я, я!

Она впилась глазами в лицо вестового, ожидая его слов, как приговора.

Вестовой смерил ее взглядом, на минуту о чем-то задумался и, открыв дверь, сказал:

— Входи скорее!

Мать вошла в кабинет. Дверь за ней закрылась.

Сделав пару шагов по кабинету, она увидела за большим письменным столом человека в погонах и замерла на месте.

Человек в погонах, будто не замечая ее, возился с бумагами и покручивал длинный серый ус.

Робким взглядом окинула мать комнату и вновь остановила глаза на расшитых серебром погонах.

„Наверное, это самый главный,—подумала мать.—Я выскажу ему свое горе, он поможет".

Она подошла ближе.

Человек в погонах встал и, заложив руки за спину, прошелся от стола к окну.

— Чего тебе надо?—спросил он сухо, не глядя на мать.

— Я о сыне узнать хочу, родненький!—ответила мать, устремив на него глаза, полные тоски и ожидания.

— О сы-ыне?..—протянул человек в погонах и, бросив на мать быстрый взгляд, спросил хриплым голосом:— А кто твой сын?

Мать, оробев под этим взглядом, невольно отступила.

— Мой сын?—повторила она заплетающимся языком.— Мой сын—Байрам.

И она застыла в ожидании ответа. А лицо человека в погонах скривилось, брови сдвинулись, губы сжались. Он всплеснул руками и закатился громким смехом. Этот смех бросил ее в дрожь. Не зная, как быть, она не отрывала удивленных глаз от лица человека и ждала, пока он кончит смеяться.

Почему он смеется? Что смешного в том, что мать, обивая пороги, пытается узнать что-нибудь о судьбе своего сына? Или этот человек, украсивший плечи погонами, не знает, насколько дорого матери рожденное ею дитя? Или он лишен всяких человеческих чувств, он—хищник с холодным камнем, вместо сердца?

Расстерянная, она не заметила, как человек в погонах подошел к ней вплотную.

Сощурив маленькие блестящие глаза, он смотрел на мать насмешливым взглядом.

Не выдержав этого взгляда, она поднесла руку к лицу и, пятясь назад, к двери, пробормотала:

— Что такое, начальник? Почему смотришь так?

Человек в погонах подбоченился и, глядя исподлобья, начал мелкими шагами наступать на нее.

— Байрам?—свирепо спросил он.— А ты знаешь, кто такой Байрам?

Этот вопрос показался матери странным, и она не сразу ответила на него. Опустив лицо и немного подумав, мать проговорила тихим голосом:

— Байрам—мой сын, мое сердце!

Человек в погонах отскочил от нее, словно в него плеснули кипятком. Очутившись за своим столом, он грозно постучал по нему кулаком и крикнул:

— Нет, Байрам—враг, он мятежник. Его место в Сибири, на виселице!

Мать молчала.

Замолчал и человек в погонах. Он стоял уже спокойно, опираясь кулаками о стол.

Несколько минут они молчали. Потом мать подняла голову и затуманенными от слез глазами посмотрела на человека в погонах. В ее взгляде вместе с ненавистью и отвращением светилась и непоколебимая гордость.

Он вдруг улыбнулся и, погладив усы, сказал:

— Но я могу спасти твоего сына от смерти!

И он сел в мягкое кресло.

Мать продолжала молчать. Казалось, раненая в сердце, она истекала кровью. Все перед ее глазами было покрыто каким-то туманом, слова доходили до нее с трудом.

— Значит, ты согласна на смерть сына? Можешь итти!—услышала она.

Эти слова о смерти сына словно пробудили мать от глубокого сна. Она быстро смахнула с ресниц слезу, уставилась расширенными зрачками на человека и вдруг, упав перед ним на колени, горячо заговорила:

— Умоляю тебя, господин начальник! Кроме Байрама, у меня никого нет на свете. Ведь и тебя мать родила. Как тебя любит твоя мать, так и я люблю Байрама. Не убивайте его. Разве людям будет лучше от его смерти? Если мир будет счастлив от его смерти, пусть будет по-твоему, но ведь...

Она не договорила. Старая черная чадра спала с ее головы, обнажив седые волосы.

Ее мужа, Мурсала, убило на нефтяных промыслах упавшим с вышки железным ломом. Тогда Гюльназ не было еще и тридцати лет. Лишь в одном Байраме видела она источник своего счастья. Терпя горечь одиночества, молча перенося насмешки и оскорбления злых людей, борясь с голодом и холодом, она растила и хранила его, как зеницу ока, а теперь его хотят повесить.

— Нет, нет!

Мать поднялась на ноги. Схватив конец чадры и волоча ее по полу, она приблизилась к столу начальника.

— Скажите, как я могу спасти моего сына?—четко проговорила она.

Человек в погонах, словно наслаждаясь страданиями матери, весело усмехнулся, задумался и затем, нагнувшись к ней, сказал негромко:

— А ты знаешь виновника гибели твоего сына?

— Мать отрицательно покачала головой.

— Коба.

— Коба?..

— Его называют еще Сталин. Он хочет разорить весь мир. Поэтому и посылает людей на гибель. Таких, как ты, матерей оставляет без сыновей. Это из-за него столько людей высылается в Сибирь, на каторгу... Говорят, что он скрывается в бедных домах. Я уверен, что когда-нибудь он зайдет и к тебе. Если ты его задержишь и сдашь нам, мы освободим твоего сына Байрама. В придачу я еще денег тебе дам.

— Коба!.. Сталин!..—несколько раз повторила про себя мать.

— Теперь ступай. Исполни, что я тебе сказал...

Мать не уходила. Вперив глаза в одну точку, она стояла без движения, погруженная в глубокое раздумье.

— А вдруг я не сумею найти Кобу?—спросила она тревожно.

— Тогда на нас не обижайся!—ответил, хитро улыбаясь, начальник.—Своего Байрама ты больше не увидишь.

Не говоря более ни слова, мать вышла из кабинета.

☆

В городе дул сильный ветер. Словно раненая птица, он метался по улицам. Тучи быстро неслись к югу. Порой из-за туч выглядывало солнце и окидывало мир суровым взглядом. Мчась по серой поверхности моря, волны ударялись о берег и разлетались в брызги, рассеивались в тусклых лучах солнца разноцветной пылью.

По улице, среди торопившихся куда-то людей, шла укрытая черной чадрой женщина, подставляя грудь ударам ветра. Ветер раздувал ее чадру, словно черный парус. Она останавливалась, с трудом подбирала чадру и снова продолжала свой путь.

Она искала Кобу.

Уже два дня бегала она по улицам, ища незнакомого, неизвестного ей человека. Любовь к сыну и страх за его судьбу наполняли ее сердце.

— Кто такой Коба? Каков он из себя?

Она спрашивала о нем всех встречных на улицах, но никто не мог дать ей точного ответа.

Одни проходили мимо, окидывая ее недоуменным взглядом и не отвечая. Другие спрашивали с интересом:

— На что тебе Коба, мать?

Мать нигде не могла отыскать его. Куда теперь ей итти? У кого спросить? Она с отчаяньем смотрела на прохожих, но ни на одном лице не могла прочитать ответа на мучивший ее вопрос... Словно весь мир онемел, ни живые, ни мертвые не отвечали ей.

Почему этот мир стал враждебен ей? Почему люди закрывали глаза на мучения страдающей матери, отворачивались от нее? Разве она так много требовала от мира?

Не нужны ей ни роскошные дворцы, ни пышная жизнь. Она хочет лишь спасти сына от виселицы, почувствовать

его теплое дыхание на своей щеке, досыта наглядеться на него, отвести удар судьбы, занесенный над его головой.

Путаясь в чадре, мать исколесила все улицы и переулки города, призывая на помощь людей, бурливое море, бездонное небо, тусклое солнце, а по ночам обращала полные мольбы глаза к бледной луне и мерцающим звездам. Но никто не спешил к ней на помощь и не слушал ее стенаний.

Проходили дни. Мать все продолжала искать Кобу, а по ночам, сидя в своей халупе, ожидала его прихода.

Если бы мать знала, что этот человек грудью добивается счастья для всех людей и ради этого счастья переносит бесконечные муки и лишения, рискуя на каждом шагу встретить смерть, если бы мать знала об этом, она искала бы его с иными чувствами, с иными намерениями.

Не для того, чтобы предать его в руки человека в погонах, а для того, чтобы уберечь его от вражеских глаз, от дурных языков, чтобы в тяжелые минуты притти ему на помощь. Но эта простая, честная женщина была обманута человеком в погонах.

☆

Однажды, бродя по берегу моря, мать услышала знакомый, родной голос:

— Мать!..

Вслед за этим голосом раздался удар плети и звон железа.

Мать быстро оглянулась вокруг.

Жандармы вели группу людей, закованных в кандалы. Мать прислушалась. Это был голос ее сына. И она бросилась бежать за конными жандармами. Чадра путалась у нее в ногах, мешала ее бегу, дыхание прерывалось, сердце колотилось в груди. Но она продолжала бежать, горя желанием хотя бы издали взглянуть на сына, вновь услышать его голос.

Но вдруг она споткнулась о камень и упала. Гневно шумело море, слившееся на горизонте с черными тучами. Резко кричали чайки, бросаясь в объятия бурных волн. А ветер, подхватив упавшую с матери чадру, стремительно погнал свою добычу в даль...

☆

Из лачуги матери кто-то вышел, закрыв за собою дверь. Он остановился на улице, испытующим взглядом осмотрелся вокруг.

Было уже темно. Ветер стих, улицы пустели.

Еще раз оглядевшись, он приподнял воротник пиджака и пошел вперед, выбирая темные и безлюдные улицы. Заложив правую руку за борт пиджака, он все более ускорял шаги.

Его сердце кипело в эти минуты гневом. Страдания седой матери, искавшей своего сына, заставили сердце этого чуткого человека биться еще сильнее, обострили его негодование.

Он не хотел видеть матерей в слезах, сыновей в ржавых кандалах. Его мечтой было—увидеть человека счастливым и свободным.

Всю дорогу он нервно кусал губы, сдвигал брови и словно пытался лучами своих глаз прорвать темную завесу.

Дойдя до окраины города, он остановился. Зорко огляделся по сторонам. Вокруг—ни души. Сквозь окна низких, покосившихся домишек пробивался тусклый свет. Где-то вблизи был слышен голос матери, баюкавшей младенца.

Он напряженно прислушался и, убедившись в полной безопасности, постучал в двери.

Ему открыли тотчас, словно давно ждали его стука.

Бледный луч света, напоминавший желтый столб пыли, ворвался в темноту. Открывшая дверь женщина улыбнулась и, впустив гостя, захлопнула дверь.

Проходя по узенькому коридору, он спросил:

— Ваш ребенок уснул?—и он ласково улыбнулся бледнолицой женщине.—Вы замечательно пели колыбельную...

Женщина застенчиво опустила голову.

— Все в сборе!—проговорила она, не отвечая на слова гостя, и вошла в комнату.

Гость прошел по коридору и открыл низкую дверь.

Внизу, в подвале, горели три керосиновые лампы, слабо освещавшие лица трех людей, стоявший посредине печатный станок, наборные кассы у стен и сложенные кипами листовки.

Увидя вошедшего, все трое оставили работу и с улыбкой приветствовали его. Гость спустился по ступенькам вниз.

— Простите, товарищи! Я немного опоздал...—проговорил он, по очереди пожимая им руки.

— Коба, дорогой!—сказал один из товарищей с длинными густыми волосами.—Ты не опоздал. Пришел как раз во-время. Садись, пожалуйста. И он указал ему место.

Коба сел, облокотился о стол и задумался.

Все молча смотрели на него, ожидая его слов.

Не поднимая головы, Коба проговорил глубоким грудным голосом:

— Прошу извинить меня, товарищи, за опоздание! Меня задержала... мать. Мать, которая пыталась вырвать своего сына из лап жандармов.

*

Два дня мать не приходила в себя. Она бредила:

— Байрам! Ты пришел? Как хорошо, что пришел. Ты больше не уйдешь отсюда?

И она ласково разговаривала с сыном, утешала его.

Порой из ее горячих уст вырывались вопли, призывавшие на помощь:

— Не пускайте! Помогите! Убивают сына!

Она плакала и металась.

Коба два раза навещал старушку. Во второй раз он привел своего друга фельдшера—Серго, чтобы тот осмотрел больную и помог ей.

Они приложили к горячей голове матери мокрое полотенце, дали ей лекарства, положили у изголовья пищу и ушли.

На третий день мать пришла в себя и была очень удивлена, увидя склянки с лекарствами и еду.

Кто мог позаботиться о ней, принести ей все это? Из соседей никто не мог сделать это. Долго думала мать, но никак не могла разгадать загадку.

„Когда-нибудь узнаю и отблагодарю доброго человека!“— подумала она и снова принялась за поиски Кобы, чтобы предать его в руки человека в погонах.

В городе уже не было ни одного закоулка, в котором бы она не побывала, не было ни одного угла, куда бы она не заглянула, но напасть на след Кобы она не могла.

А время проходило. Если она опоздает, начальник рассердится и повесит Байрама, поразит мать в самое сердце.

Вдруг мать вспомнила о промыслах, где работал ее сын, и, не теряя ни минуты, зашагала на Баилов.

Промысла бурлили. Все тут двигалось, кипело. Бросив работу, рабочие толпами двигались по промыслу. Их лица горели негодованием.

Не отрывая удивленных глаз от вышек, от рабочих, мать устало шагала за ними, не решаясь спросить кого-нибудь о Кобе.

Когда она вспоминала о том страшном ветренном дне, когда до нее доносился призывный голос ее дорогого сына, у нее темнело в глазах, она чувствовала непреодолимую слабость, ее ноги отказывались итти дальше. Но потом в ее груди поднималась страшная сила, она звала к протесту эту старую женщину, спугнутую из теплого гнезда желанием спасти сына, бьющегося в объятиях смерти.

Но против кого, против чего она восставала?

Мать этого не знала. Она знала лишь то, что кто-то не дает ей жить, кто-то хочет, чтобы над ее домом кричала сова...

И она все шла за рабочими, пока не дошла до открытой площади, полной народу.

Все махали руками, о чем-то возбужденно кричали, называли чье-то имя. Это был для нее новый мир. Впервые за свою полувековую жизнь, проведенную в доме отца, а затем в доме мужа, видела она собрание.

Зачем собрались эти люди, кого они ожидают, чего хотят?

Она робко подошла к толпе и стала прислушиваться к разговорам.

Старик в замазученной одежде, с блестящим от машинного масла лицом, жаловался стоявшему рядом молодому рабочему:

— Правду говорит. И мы люди. И нас мать родила. Работать по шестнадцать и восемнадцать часов в день заставляют, а когда дело доходит до платы, то руки у них сохнут. Их грошей нехватает даже на то, чтобы поесть досыта.

Внимательно выслушав его, молодой рабочий отвечал:

— Дядя Энвер! Мы не только за хлеб боремся. На прошлом собрании Коба говорил, что рабочие заживут свободно и счастливо только тогда, когда возьмут власть в свои руки. Пока эти промысла и заводы имеют хозяев, рабочие не увидят светлого дня. Хозяева вечно будут обирать рабочих. Те, что молчат и терпят, будут пухнуть с голода, а те, кто станет кричать, сгниют в темнице. Поэтому нам нужно единение.

Услышав имя Кобы, мать не могла удержаться и тронула молодого рабочего за рукав:

— Детка, а где Коба?—спросила она.

— А на что тебе Коба, мать?—и он оглядел ее с ног до головы.

Мать хотела было признаться, что хочет поймать и передать его начальнику, но удержалась. Она вспомнила то, что говорил сейчас этот рабочий. Ее сын Байрам говорил точно так же.

Он говорил, что рабочим живется плохо и что им надо взять промысла в свои руки.

Тогда мать возражала сыну, говоря, что бессмысленно бороться с правительством, надо быть благодарным и за тот кусок хлеба, который они получают.

Байрам смеялся и, горячо обнимая ее, убеждал:

— Нет, мама! Мы—люди и хотим жить по-человечески!

А гость, бывавший у них, всегда одобрял слова Байрама.

Тогда мать не соглашалась ни с сыном, ни с гостем. Она призывала их вернуться на божеский путь.

— Что дано человеку судьбой, то и должно случиться.

Затем гость и сын садились в угол комнаты и о чем-то говорили до глубокой ночи. Когда же гость собирался уходить, мать не отпускала его. Она доставала шелковую постель,—свое приданое,—и укладывала гостя спать.

Утром она угощала его чаем с молоком, домашним чуреком и соленым сыром.

„Неужели гость забыл обо мне?—с сожалением подумала мать.— После ареста Байрама он ни разу не навестил меня, чтобы узнать, как поживает мать его друга...“

Выйдя из забытья, мать подняла голову и не нашла возле себя ни старого, ни молодого рабочего. Они куда-то ушли. Мать огляделась и увидела себя в середине людской толпы, волновавшейся, словно море.

Со всех сторон были слышны голоса, смех, угрозы.

Вдруг все стихло. Кто-то поднялся по ступенькам вышки и взошел на площадку, похожую на балкончик. Он окинул взором толпу, затем вынул из карманов пачки бумаги и бросил вниз.

Листы летели без конца. Казалось, идет крупными хлопьями беспрерывный снег. Каждый жадно ловил в воздухе листок и прятал в карман.

Один листок упал на голову матери. Она схватила его, оглядела, но, ничего не поняв, подумала:

„После дам, почитают мне!“ —и, аккуратно сложив его, спрятала на груди.

Человек что-то говорил с площадки, энергично жестикулируя руками. Он говорил горячо, но мать плохо его понимала, только несколько раз слышала имя Кобы.

— Наши лучшие товарищи,—говорил оратор,—Муктедир, Байрам и другие гниют в царской тюрьме...

При этих словах мать дико вскрикнула. Рабочие с удивлением повернулись к ней.

— Что с тобой, мать?—спросил один из рабочих.

— Байрам, Байрам, мой сын!—простонала она.

— Значит, ты мать нашего Байрама?

— Да, мать... Дайте мне дорогу... Я хочу сказать о своем горе, сказать о Байраме... Авось, вы поможете!..

— Дайте дорогу! Расступитесь!.. Мать Байрама хочет говорить!—раздались голоса со всех сторон.

Толпа расступилась. Мать начала раскаиваться в том, что вызвалась говорить перед таким множеством народа.

Как она будет говорить перед толпой мужчин?

Она задумалась на мгновение, но только на мгновение. Любовь к сыну, страх за его жизнь, надежда спасти его придали ей смелости. Да, она будет говорить, она потребует от них помощи сыну, который сидит в мрачной тюрьме.

И мать смело пошла вперед. Рабочие помогли ей взобраться на площадку.

Сотни людей в ожидании впились глазами в ее лицо.

Мать растерялась. Что она скажет этим людям, как она выльет перед ними горечь своей души? Она уже хотела сойти, но снизу раздались голоса:

— Говори, мать! Говори!

Но она не успела сказать и слова, как со всех сторон показались конные жандармы и в один миг окружили толпу.

— Жандармы! Жандармы!

Матери отсюда была видна вся площадь. Люди заволновались. Жандармы и казаки, размахивая плетьми, стали наступать на рабочих, стегать их нагайками.

Рабочие схватились с ними, пытаясь стащить их с коней. Они бросали в конников камни, куски железа, все, что попадало под руку.

Встретив сопротивление рабочих, жандармы и казаки обнажили шашки. Несколько рабочих были ранены и упали наземь...

Мать, застыв на месте, с ужасом наблюдала за всем происходившим.

„Что это? Сон или явь?"—думала она.

Затем протерла глаза и вновь посмотрела вокруг.

Топча копытами лошадей распростертых на земле окровавленных рабочих, казаки гнались за разбегавшимися людьми.

Храп лошадей, крики, стоны... Все это вихрем ворвалось в сердце матери, наполнив его ненавистью к людям в погонах.

Ей хотелось броситься на них, растерзать их зубами, задушить руками.

В этот момент она заметила казака, который карабкался к ней, держа в руке обнаженную шашку...

Волосы стали дыбом на голове матери. Словно орлица, она кинулась на казака...

☆

За участие в политической демонстрации, за хранение революционной листовки мать целую неделю просидела в арестном помещении полицейского участка.

За эти семь дней тысячу раз таскали ее на допрос, били, пытали, но на все вопросы она отвечала молчанием. И что она могла сказать? Она знала сейчас лишь одну правду. Она знала, что зло царствует на земле, что топчутся под ногами невинные дети и матери, что всякому, кто говорит правду, затыкают горло кулаком.

За что же?

Бредя по пустынным темным улицам, мать поняла, что люди в погонах наполняют глаза человечества слезами, набрасывают на лицо мира кровавое покрывало.

Она шла к своему опустевшему дому, с трудом передвигая ноги. Город спал. Город не слышал ее жалоб. Но кто же выслушает жалобы материнского сердца, кто утешит мать, лишившуюся сына?

Мать была уверена, что есть на свете такой человек. Когда-нибудь он постучится в двери одинокой лачужки, поможет в ее материнском горе.

Она шла и звала на помощь весь мир.

Но не слышала призыва матери немая ночь...

Дувший с моря соленый ветер сушил слезы на ее щеках, играл выбившимися из-под платка седыми волосами.

Мать шла, сама не зная, куда, к кому?..

Нет, она не хотела итти домой. Кто ее ожидал дома? Дом ее теперь холоден и тосклив.

Но как ни тосклив этот дом, он еще сохранил теплое дыхание Байрама.

Да, мать пойдет к себе домой, сядет там одиноко и будет ждать своего сына.

Дойдя до конца улицы, она остановилась. Одна мысль не покидала ее:

„А вдруг Байрама освободили? И он сидит дома, ждет меня?“

Эта мысль вновь зажигала в ней затухший луч надежды.

Она боялась подходить к своему дому. Боялась, что этот луч надежды вновь погаснет и тогда опустошится ее душа.

Колебание длилось недолго. Мать быстро подошла к двери.

Дверь оказалась запертой на замок. Мать нехотя отперла ее. Запах сырости ударил ей в лицо.

Печально войдя в комнату, она зажгла свет. Лампа покрыла комнату желтыми пятнами. Мать оглянулась вокруг, словно была в чужом, незнакомом жилище.

Она подсела к окну и уставилась в темноту улицы.

☆

Раздался негромкий стук в дверь. Мать вскочила, прислушалась. Стук повторился. В первую минуту она остановилась в недоумении, но вдруг подумала:

„Не Байрам ли?“—и рывком распахнула дверь.

— Гостя примешь, мать?—раздался ласковый голос.

— Пожалуйста, сынок! Мои двери всегда открыты для гостей!

В комнату вошел Коба. Он протянул матери руку.

Внимательно вглядевшись в гостя, мать узнала старого друга Байрама. Она крепко пожала ему руку, потом обняла его и поцеловала в лоб.

Плача, она начала говорить с упреком:

— Где же ты был до сих пор, милый? Или ты совсем позабыл обо мне? Сколько времени прошло. Ты ни разу не заглянул ко мне, чтобы хоть мимоходом спросить, как поживает твой друг, что поделывает мать, не скучает ли? Проходи, проходи, детка. Боль твоя—мне! Хоть ты и забыл обо мне, но я всегда тебя помню. Пройди, садись на эту подушку.

Коба тоже обнял мать и заглянул в ее влажные глаза. В этих глазах он видел чистую любовь матери. Проведя рукой по ее волосам, он сказал ласково и серьезно:

— Ты напрасно упрекаешь меня, мать! Я все знаю.

И дважды навещал тебя, когда ты была больна...

— Так это ты приносил мне лекарства и еду?

— Да, я. Но ты должна меня простить. У меня много работы. Времени совсем мало. Я бы каждый день бывал у тебя, если бы мог.

— Да продлит аллах твою жизнь! Да не оставит создатель твою мать в слезах! Иди же, иди, садись!..

Мать взяла Кобу за руку и насильно посадила его на подушку. Подложив ему под локоть мутаку, она сказала:

— Ты отдохни тут, а я пойду, вскипячу чай.

Коба запротестовал, прося ее сесть рядом и рассказать о себе, но мать отвечала, что хотя у нее дома ничего нет, но чаем угостить друга своего сына она может.

Вскоре она принесла маленький стаканчик чая и, поставив его перед гостем, села рядом с ним.

Они помолчали.

— Как хорошо, что ты пришел,—наконец, сказала мать,— иначе сегодня я зачахла бы от тоски, с ума бы сошла от горя. Скоро месяц, как от Байрама нет никаких известий. Не знаю, жив ли, умер ли? В чем он провинился, что он сделал дурного, за что его гноят в тюрьме? Я ходила к начальнику, и он мне сказал, что во всем виноват Коба. Он обещал мне выпустить сына, если я найду Кобу...

— А ты нашла Кобу?—с ласковой улыбкой спросил гость.

— Нет, сынок, не нашла. Искала его по всему городу. Ходила на промысла. Наконец, меня самое арестовали и посадили в кутузку. Ругали, били. Я только что вернулась оттуда.

Этого Коба не знал. Он сжал кулаки, глаза его засверкали гневом.

Мать, старую мать били, ругали!

Скорбный голос матери проник в самую глубину его сердца. Он кипел в негодовании и, подняв кулаки, прошептал:

— Звери!..

Мать посмотрела на Кобу и стала успокаивать его.

— Не сердись, сынок, не расстраивайся. Тяжелые дни недолго живут... Скажи, сынок, кто такой Коба? Мне кажется, что и его, бедного, зря обвиняют. Ты видал его, знаешь его?

— Кобу?—переспросил гость тихо.—Знаю...

И через минуту добавил:

— Это я!..

Мать не поверила своим ушам. Наклонившись, она долго смотрела в лицо Кобы и проговорила смущенно:

— А разве твое имя не Сосо?

— Да, Сосо. Мы живем под разными именами, чтобы охранники не могли нас найти.

— Коба! Дорогой сын, родной мой!—начала она умиленно.— Ты прости меня. Я была обманута...

И она крепко прижала его к груди...

Коба собрался уходить.

— Ночь на дворе, я никуда тебя не отпущу,—твердо заявила мать.—Я должна отблагодарить тебя за доброту и загладить свою вину.

— Сын всегда в долгу у матери,—проговорил Коба, желая утешить ее.

Уступая настояниям матери, он решил переночевать у нее.

— Мать,—сказал он,—завтра мы идем освобождать Муктедира, Байрама и других из тюрьмы. Разбуди меня на рассвете.

И дорогой гость, за последние три ночи не ложившийся в постель, заснул спокойным сном.

Мать села у его изголовья, оберегая его сон, ожидая восхода солнца.





М. С. Ордубады

ПОДПОЛЬНЫЙ БАКУ

(Отрывок из II части)

Над Раманами свистела плеть. Телохранитель Мусы Нагиева, головорез Курбан из Раманов, врывался в рабочие жилища, избивал рабочих и выбрасывал их жалкие пожитки на улицу.

Жены бастующих рабочих сидели на постелях посреди дороги, окруженные плачущими ребятишками. И все-таки рабочие держались твердо, отказываясь выходить на работу.

На промысла приехал и сам Нагиев. Он обошел жилища и стал говорить встречавшимся с ним рабочим:

— Дураки вы, дураки! Вы же мне не родственники. На ваши места я поставил других рабочих, дело налажено у меня как нельзя лучше.

— И мы знаем, что дело налажено,—сказал, выходя вперед, Мамедяров.—Но и ты знаешь, как оно налажено. Кто не знает работу неопытных рабочих, штрейкбрехеров? Если сосчитать аварии, происшедшие за эти дни, взорванные котлы, помятые желонки, испорченные машины, то будет ясно, как налажено дело. Мы будем продолжать забастовку. Пусть Курбан выбрасывает рабочих из их жилищ. Что ж? Можно найти другие жилища.

— Эй,—захлопал глазами Муса Нагиев,—плешивый дьявол! Не такие ли, как ты, жулики мутят народ!

— Если Ага-Муса думает плетью Курбана погнать рабочих на работу, —поддержал Мамедярова Ханлар,—то и мы прибегнем к другим мерам.

Подошел кочи Курбан. В пиджаке, накинутом на одно плечо, он широко расставил ноги в высоких сапогах, ощу-

пал висевший на поясе наган, потом сдвинул высокую каракулевую папаху на правое ухо и сказал угрожающе:

— Эй, не тебе тут болтать о кочи Курбане. Ты смотри у меня! Как бы из тебя тут все соки не выдавили.

Ханлар, не смущаясь, гордо ответил:

— Неизвестно еще, из кого соки выдавят!

Почувствовав приближение скандала, который мог еще более осложнить положение, Муса Нагиев унял своего кочи и обратился к Ханлару:

— Эй, парень! Ханлар ты или Бегляр, я точно не знаю. Чего ты оставил Биби-Эйбат и притащился сюда? Разве вы не мусульмане? Всего-то вас, мусульман, горсточка. И чего вы связываетесь с этими наглыми русскими и лишаете других куска хлеба? Если вам чего-нибудь нехватает, потихоньку приходите ко мне, чтобы никто не знал. Зачем вы хотите, чтобы мое добро досталось этим пришельцам из Саратова. Вы же не малые дети! Зачем путаетесь с врагами нашей религии? Какие вам товарищи все эти Джапаридзе, Самарцевы, Троновы, Фиолетовы, Саратовцы. Уж если вы такие вероотступники, нацепите на себя еще крестик и станьте гяурами. Почему вы не можете установить единомыслия?

Ханлар, внимательно выслушав речь Мусы Нагиева, рассмеялся

— Ага-Муса, - сказал он.— Не будь у нас единомыслия, мы не приходили бы сюда из Биби-Эйбата. Рабочие не приступят к работе, пока не будут приняты все их условия. Это наше последнее слово, и в этом наше единомыслие.

— Будь вы прокляты!— бросил Ага - Муса, садясь в экипаж. - Пришлите завтра ваших делегатов, поговорим.

Ага-Муса уехал с промыслов, а Ханлар, Павлуша, Тронов и другие пришли к рабочим, заявили:

— Занимайте свои комнаты, вносите вещи обратно. Никто не посмеет и дунуть на вас.

Когда рабочие стали возвращаться в свои жилища, появился опять кочи Курбан со своими приспешниками, но на этот раз он забыл и о плети, и о своем нагане.

Рабочие толпой набросились на них и выгнали с промыслов.

☆

Молодой Ханлар, закончив ночную вахту, возвращался на Баилов, домой. Но он не собирался спать в эту ночь. Ему предстояло еще повторить урок по политической гра-

моте, полученный от учителя, чтобы наутро, придя на работу, передать свои знания товарищам.

Радость, наполнявшую его, он не променял бы сейчас на все богатства мира. Он шел победителем. Он выполнил задание своего учителя, заставил хозяев принять требования рабочих.

Он шел, повторяя про себя речь, с которой собирался выступить завтра на собрании против меньшевиков.

И вдруг раздался выстрел.

Ханлар, вздрогнув, остановился. Его объял жар, и Ханлар, схватившись за грудь, упал наземь.

— Враг сделал свое дело!—тихо проговорил он и глубоко вздохнул.

Выстрел был подготовлен заранее Муса Нагиевым и управляющим общества „Нафталан" Абузар-беком Рзаевым, которые дали револьвер в руки промыслового сторожа Вердихана.

Рабочие, выбежавшие на выстрел, нашли своего любимца Ханлара в луже крови.

Убийца скрылся.

Рабочие побежали к ближайшему телефону.

— Абузар бек! Абузар-бек!—кричал рабочий в телефонную трубку.—Ханлар ранен. Надо доставить в больницу. Скорее пришлите экипаж.

Ответ Абузар-бека вызвал возмущение рабочих.

Абузар-бек предлагал рабочим продержать Ханлара до утра, пока прибудет экипаж.

Взяв раненого на руки, рабочие донесли его до биржевого фаэтона и повезли в больницу.

Абузар-бек позвонил к Мусе Нагиеву, чтобы сообщить ему радостную весть, но того не оказалось дома: со своей второй женой Лизой он отправился к Гаджи, который торжественно праздновал день рождения своего младшего сына Ильяса.

Тогда Абузар бек позвонил к Гаджи.

К телефону подошла Женя и позвала Мусу Нагиева.

Муса Нагиев заранее знал о том, что именно сегодня должно совершиться подготовленное ими покушение, и, поспешно взяв трубку, крикнул:

— Слушаю!

Выслушав сообщение, Ага-Муса довольно ухмыльнулся и проговорил:

— Благодарю, меры будут приняты!

Вернувшись в столовую, Ага-Муса сообщил гостям об убийстве Ханлара Сафаралиева, - и к празднику рождения прибавился еще праздник смерти.

В тот самый момент, когда за пиршественным столом обсуждалось только что полученное известие об убийстве молодого Ханлара, жена Гаджи вывела к гостям своего младшего сына „Ильюшеньку", виновника сегодняшнего торжества.

Кебле-Исрафиль поднял мальчика на руки:

— Красивый и здоровый мальчик,—сказал он одобрительно. Пожелаем, чтобы Ильяс-ага доставил своей уважаемой мамаше вечную радость.

— По словам Абузар-бека,—прервал его Ага-Муса,—рана не тяжелая. При желании врачи могут быстро поставить его на ноги.

Прищурив маленькие глаза, Гаджи задумался и через минуту сказал холодно и выразительно:

— Это мы поручим Кебле-Исрафилю.

Поняв данное ему поручение, Кебле-Исрафиль передал мальчика своему соседу Селимханову и ушел в другую комнату, к телефону.

Он вызвал директора Михайловской больницы.

— Мы поручаем вам наблюдение за раненым, которого доставили к вам сегодня из Баилово-Биби-Эйбатского района. Его звать Ханлар. Неспокойный человек... Так хочет Гаджи. С губернатором тоже согласовано. Вы поняли меня?

Кебле-Исрафиль вернулся к столу.

—Нечего беспокоиться, —сказал он.—Если не умрет от пули, то поможет медицина. Директор больницы просил передать Гаджи поздравление по поводу его семейного торжества.

Гаджи поблагодарил и тут же поручил своему секретарю позаботиться о вознаграждении директора больницы.

— Пошли ему сто рублей,—сказал он.

Мальчик переходил из рук в руки, словно ручное зеркало цырульника.

Женя не могла дольше оставаться здесь. Никому не говоря и никого не спрашивая, она побежала в Михайловскую больницу.

У входа она столкнулась с Джемилем Ширинбековым, который выходил из больницы, вытирая платком слезы.

— Ну, как?—спросила Женя, схватив его за руку.
— Плохо! сдавленным голосом ответил Джемиль. — Негодяи не дали фаэтона... Он потерял много крови. Надежды на спасение нет.

— Вернись!—горячо проговорила Женя.—Врачам дано распоряжение умертвить его.

Спустя некоторое время раненого вынесли из Михайловской больницы и повезли в фаэтоне в больницу Ларионова.

Женя вернулась обратно. Не прошло и часа, как снова зазвонил телефон. Вызывали Кебле-Исрафиля.

Переговорив по телефону, Кебле-Исрафиль вернулся в столовую с новым сообщением:

— Сейчас говорил дежурный фельдшер Михайловской больницы Шихлинский. От имени главного врача он сообщил, что товарищи взяли раненого и повезли в больницу Ларионова.

Гаджи поручил секретарю:
— Завтра повезешь и ему подарок. Надо переговорить с Ларионовым. Это такой врач, что и мертвого может поставить на ноги.
Кебле-Исрафиль пошел к телефону и, вызвав Ларионова, сказал ему строго:
— Нечего вам множить число хулиганов и разбойников. Это вам не дешево обойдется. Имейте ввиду, что доставленный к вам раненый Ханлар Сафаралиев причиняет всем нам особое беспокойство. Понятно или нет?
Повесив трубку, он вернулся обратно, на ходу вытирая слюну на губах.
— Ларионов утверждает, что на выздоровление раненого нет надежды: он потерял много крови.
Представители бакинской буржуазии весело праздновали гибель молодого рабочего, истекшего кровью, и, сидя за столом миллионера Гаджи, опрокидывали бокалы с красным, как кровь, вином.
В это самое время, когда сытые богачи радовались, что они пролили рабочую кровь, бакинский комитет партии, собравшись под руководством Кобы, готовил горячий протест против гнусного преступления капиталистов.
По предложению Кобы, была объявлена двухнедельная всеобщая стачка.
Уже на другой день, выполняя задание своего партийного комитета, в одном только Биби-Эйбатском районе в

знак протеста забастовало девять тысяч шестьсот семьдесят человек.

Прошло три дня со времени ранения Ханлара. Преступник, прекрасно известный полиции, еще не был арестован.

Женя с Павлушей шли по Базарной улице к больнице Ларионова. Перед больницей стояла огромная толпа рабочих. В больницу никого не впускали, так как положение раненого было очень тяжелое.

Женя и Павлуша долго думали над тем, как бы проникнуть к умирающему. Наконец, они прошли на Губернскую улицу, откуда жена доктора Ларионова, Наталья Константиновна, провела их в больницу через свою квартиру.

У кровати раненого Женя и Павлуша не могли удержаться от слез. Заплакала и добрая жена врача.

— Ему нужна была кровь!—рассказывала она, всхлипывая,—он истек кровью.

Женя и Павлуша одновременно повернулись к находившемуся здесь же Ларионову и, протянув к нему руки, взволнованно вскричали:

— Разрежьте, доктор, наши жилы, разрежьте! Спасите любимца рабочих!

Врач с сожалением покачал головой.

— Поздно, милые! Поздно. Теперь ничем нельзя помочь. Я очень сожалею об этом. Этот случай ляжет темным пятном на мою врачебную практику. Я не сумел спасти жизнь молодому, полному сил, честному рабочему.

И он направился к выходу. Губы его шептали:

— Что мне делать? Не дали возможности... Женя опустилась на стул у кровати раненого.

Лицо его было бледно, глаза закрыты, черные густые волосы спадали до самых бровей. Женя протянула руку и нежно убрала волосы с его лба.

Ханлар открыл глаза, почувствовав теплоту руки Жени. Его черные глаза теперь мало были похожи на глаза, всего пять дней тому назад горевшие силой жизни, энергией.

Теперь они еле светились.

Ханлар с трудом высвободил руки из-под одеяла и протянул их товарищам.

— Вы пришли сказать товарищу последнее прости?!—выговорил он слабым голосом.—Еще несколько минут, и вы не застали бы меня в живых.

— Что ты, Ханлар!—стала утешать его Женя.—У тебя ничего опасного нет. Скоро выздоровеешь, и мы опять будем работать и вместе бороться за рабочее дело.

Трудно было говорить Жене. Ее душили слезы, но она сдерживала себя, чтобы еще больше не расстраивать друга. А Ханлар угасал, словно последний луч догорающего заката.

— Смерть не страшна,—говорил он.—Тяжело уходить от товарищей, выбывать из строя.

Ханлар повел глазами вокруг, словно ища кого-то.

— Она не пришла!—прошептал он, и капля слезы выкатилась из его глаза.

Это была первая и последняя капля, выжатая предсмертной тоской из глаз молодого борца.

— Она не пришла! — повторил Ханлар и, снова оглядев комнату, больше не закрывал глаз.

Казалось, он хотел увидеть будущую жизнь, результаты сегодняшней жестокой борьбы.

Женя сложила ему руки на груди и натянула на них одеяло. Затем она похолодевшими пальцами закрыла веки умиравшего товарища.

Не прошло и минуты, как в палату вбежала девушка лет двадцати. То была возлюбленная Ханлара—Джейран, которую искал глазами умирающий Ханлар и о которой говорил с тоской:

— Она не пришла!

— Ханлар!—вскрикнула Джейран, бросаясь к кровати и падая на колени.—Открой глаза, Ханлар! Я пришла к тебе! Заговори со мной!

Она опоздала.

Черная реакция совершила одно из своих гнусных преступлений, разлучив молодого Ханлара с его невестой, вырвав борца из среды бакинских пролетариев.

Вытирая слезы, Павлуша вышел на балкон и обратился к тысячной толпе рабочих, запрудивших всю Базарную улицу:

— Царские жандармы добились своего: нашего любимца Ханлара не стало!

Комиссия по похоронам Ханлара, избранная на митинге рабочих Биби-Эйбатских промыслов, получила коротенькое указание от Кобы:

— Надо превратить похороны Ханлара в мощную демонстрацию против царского правительства и бакинской буржуазии.

Это указание было принято рабочими всех бакинских нефтяных промыслов, объявившими всеобщую забастовку.

Процессия рабочих, шедших за телом своего борца, тянулась от больницы Ларионова вплоть до самой Баиловской улицы. Оркестр исполнял траурный марш.

Бакинские миллионеры, боясь мести рабочих, отсиживались в своих домах, опустив на широкие окна тяжелые занавесы.

Траурный марш терзал слух бакинского губернатора Фальбаума, и он нервно кричал в телефонную трубку полицеймейстеру:

— Немедленно прекратите траурный марш!

Полицеймейстер вызвал к себе представителя комиссии по похоронам и заявил ему строго:

— По распоряжению губернатора, я запрещаю вам исполнять траурный марш.

Оркестры умолкли.

Коба нагнулся к уху Вацека:

— Пошли нескольких ребят,—прошептал он,—на электростанцию и другие предприятия, чтобы рабочие дали непрерывные гудки.

Через некоторое время, когда гроб с телом Ханлара был уже у Баиловской улицы со всех концов города раздались гудки. Вторя им, загудели гудки на всех промыслах, заводах и фабриках города, приводя в трепет скрывшихся в своих дворцах организаторов черного убийства.

Перед гробом несли около ста венков, за гробом шли тысячи рабочих, и всю эту процессию сопровождали, окружив ее, охранники, жандармы, полицейские и конные казаки.

Никто не плакал. Пламя мести высушило у всех слезы.

Двадцатитысячная рабочая процессия донесла гроб до селения Шихляр.

Руководил процессией сам Коба, наглядно показывая царским властям и буржуазии несокрушимость единства рабочих.

Задача превращения похоронной процессии Ханлара в мощную рабочую демонстрацию против реакционного кабинета Столыпина была выполнена блестяще.



Сулейман Рустам

ЛУЧШИЙ ПОРТРЕТ

Мне сказали: такой напиши ты портрет,
Чтобы в розы он был, как ковер, разодет,
Чтоб сердца окрылялись, увидев его,
Чтоб в народе любимым он стал оттого,
Чтобы стены счастливых домов обновлял,
Чтобы сына земли он собой вдохновлял,
Чтобы солнце без боя померкло пред ним,
Чтобы пламя любое померкло пред ним,
Чтоб названье писалось из роз и из трав,
Чтоб народ поднимался, его увидав,
Чтоб земля и моря преклонились пред ним,
Чтоб ребенок впервой называл бы его,
Чтоб на-память, склонясь над столом небольшим,
Пионер на листе рисовал бы его,
Чтобы виден был легкий налет седины,
Чтобы мысли в глазах его были видны,
Чтобы весь он лучился в улыбке его,
Чтоб народ научился улыбке его,
Чтобы взгляд соколиный был ясен и смел,
Чтобы зиму в весну превратить он умел.
Если сможешь такой написать ты портрет,
То палитра твоя несравненный букет.

Я объехал вселенную слов на коне,
Только радость нашел я в родимой стране.
Я в сердца заглянул, что свободны навек,
Лишь один у народа в груди человек.
Нет роднее его и дороже его.
Вдохновенье меня захватило всего.
Я был конным в пути, я был счастьем согрет.
Написал я простой драгоценный портрет.
Он народа отец и любимейший сын,
И шагает за ним наш народ-исполин.
За собою ведет он вперед и вперед
Стовосьмидесятимиллионный народ.



Иосиф Оратовский

ДВА ДРУГА

...И, наконец, из долгой тишины,
Из тьмы бумаг, из сумерек планшета
Мечта поднялась городом из света
На перекрестке солнца и луны
И архитектор труд свой показал,
Сказав на поздравленья:
— Погодите,
Мне мысли эти Сталин подсказал,
Вы нашего вождя благодарите.—

В землянках люди жили третий год,
С лесов по целым суткам не сходили.
И, наконец, среди камней и пыли
Вознесся город, как весной восход.
Строитель же, слезая со стропил,
Сказал на поздравленья:
— Погодите,
Нас этой воле Сталин научил,
Вы нашего отца благодарите.—

И под лучами яростных светил
Счастливо зажил город прикордонный.
Как вдруг—снаряд из темноты бездонной
Его пожаром злобы осветил.
Но вышли танки, синий лес штыков,
Три дня шел бой с восхода до заката,
И пали наши лучшие ребята,
Но город отстояли от врагов.

А наш боец, сощурясь на лучи,
Сказал на поздравленья:
— Погодите,
Нас этой силе Сталин научил,
Вы нашего отца благодарите.—

И горожане вместе собрались
И целый день, прикрыв глаза от света,
Искали лучшие слова привета
И бережно их вписывали в лист.
Ответ пришел по нитям проводов.
Вождь отвечал:
— Вы сами всё творите,
Строителей—героев и творцов—
Вы наш народ-герой благодарите.—

Красноармейцы сели вкруг стола
И написали, как они учились
Отваге у вождя, как храбро бились
И за письмом сидели досветла.
А из Кремля им отвечает вождь:
— Вы родину святую берегите,
А за отвагу верную и мощь
Вы наш народ-герой благодарите.
. . . .
И не сметут ни ураган, ни вьюга
Любви, которой дышет человек.
И так в моей стране живут два друга,
Друг другу благодарные навек.





Али Велиев

ДРУЗЬЯ

Рассказ

I.

С фиалковой долины поднимается холовар—песня пахаря, оседает на ярких лепестках мака, разливается по всей равнине.

Это поет Тахмаз. Идущий за плугом Ашраф-киши влюблен в холовар своего молодого друга, который поет сегодня с каким-то особенным вдохновением.

— Эй, Тахмаз? Что с тобой сегодня? И почему ты поешь так тоскливо?—спрашивает он певца и глубоко вздыхает.

Тахмаз притворяется, что не слышит, но Ашраф-киши повторяет свой вопрос.

— Дядя Ашраф,—смущенно отвечает Тахмаз,—тоска одолела.

Ашраф-киши отрывает глаза от земли, вглядывается в Тахмаза, но в этот момент плуг начинает прыгать по кочкам уже вспаханной земли, и Ашраф-киши, крепче ухватившись за ручки плуга, снова направляет его по прямой линии и говорит с усмешкой:

— Это верно, Тахмаз!—говорит он с усмешкой.—Знать, ты стал находить путь истины...

Тахмаз смущается еще больше, краска заливает его лицо. То ли от движения, то ли со стыда тело его покрывается испариной, и со лба стекают капельки пота. Как ему открыть свое сердце Ашраф-киши, отцу своей возлюбленной?

И Тахмаз молчит. Солнце идет к закату. Тахмаз чувствует непреодолимое желание открыться верному другу, рассказать о переполняющей его любви к Ясемен.

Вот уже пятый день, как старуха Яхши замечает какую-то перемену в поведении. в движениях, в разговорах и жестах своего сына Тахмаза. Недавно, оставшись одна со своим внуком Ильясом она говорила ему:

— Деточка, дядя твой стал за последнее время какой-то странный... Не могу понять, что с ним.

Маленький Ильяс дернул в ответ плечами, ничего не поняв.

С того дня Яхши была охвачена мыслями о сыне.

— Поскорее нашел бы себе девушку, вскормленную честным молоком... Как бы парня не совратили.

☆

В ту ночь была очередь Тахмаза остаться при быках на пастбище. Еще до заката солнца товарищи сложили цепь от плуга и готовились итти домой, а Тахмаз собрал остатки черствого хлеба в старую салфетку и, попрощавшись с друзьями, погнал быков далеко к озеру на водопой.

Сумерки набрасывали на землю свой темный полог.

Напоив быков, Тахмаз погнал их на пастбище, где разнообразные запахи цветов проникали в самую душу.

Быки с наслаждением пощипывали душистую травку, а наевшись, ложились тут же и начинали жевать губами.

Тахмаз растянулся около быков.

Была тихая темная ночь.

Он улыбнулся, подумав о сегодняшнем дне. Уже семь лет, как он живет самостоятельным трудом. У него на дворе корова, восемь овец, кобыла с жеребенком, новая домашняя утварь.

Скоро он женится на Ясемен, станет настоящим мужчиной, семейным человеком, а там пойдут дети, и друзья станут подшучивать над ним:

— Эх, Тахмаз! Теперь ты степенный человек, отец семейства...

Он широко улыбнулся, но вновь беспокойство овладело его сердцем.

Жениться на Ясемен, обзавестись семьей—это было заветной мечтой Тахмаза. Но согласится ли мать, одобрит ли выбор? Понравится ли ей Ясемен? И как открыть матери свою тайну, как сказать ей, что он любит Ясемен? Как поступить, если мать воспротивится? Ослушаться ее? О, нет. Его мать с ранней молодости всю свою жизнь посвятила воспитанию сына. Ради такой матери он готов пожертвовать сотней Ясемен.

„Я куска в рот не положу без согласия матери! — думал он. — Без нее ни шагу не сделаю".

Тахмаз поднялся и обошел быков.

Из-за горы всходила луна, разгоняя густой мрак ночи.

Тахмаз прогуливался и думал о Ясемен, о ее живом уме, о ее способностях, красоте. Даже один день разлуки тяготил его Он страстно ждал того часа, когда сумеет поговорить с матерью.

„Что мне делать? — с горечью говорил он себе. — Сестру унесла беспощадная смерть. Брат открывает свою тайну прежде всего сестре. Кому же мне открыться? Матери стесняюсь..."

Тахмаз остановился и, склонив голову на пастушью дубину, стал тихо напевать:

Мой друг, на мир нисходит ночь,
И караван проходит в ночь,
А ночь длинна, а друга нет.
Тоску и скорбь наводит ночь.

☆

Тетя Яхши с нетерпением ожидала возвращения Тахмаза.

Пахари уже вернулись. Редкие облака, словно вспугнутые овцы, разбегались по небосклону и вновь спешили к вершинам гор. Солнце, прощаясь с ними, уходило на покой.

В комнате стало темно, и Яхши, выйдя на двор, стала смотреть на дорогу. Вскоре пришел и Тахмаз, ее единственная опора и любовь. Он показался матери несколько мрачным. Его розовые щеки были покрыты пылью, отчего он выглядел серым и удрученным.

— Я сама разгружу осла, – сказала мать, встречая его. — А ты поди к роднику, умойся.

Родник был в десяти шагах от их дома.

Тахмаз не хотел утруждать мать. Он сбросил с осла цепь от плуга. Она громко звякнула, отчего бурая корова вскочила, как ужаленная.

Тахмаз ушел к роднику умыться, а тетя Яхши развела на дворе костер и стала подогревать оставшуюся со вчерашнего дня кашу.

„Чем он расстроен? — думала она. — Лучше бы мне умереть, чем видеть его в горе. С какими муками я вырастила его! Он был мне и отцом и матерью, и братом и сестрой. В нем моя надежда, моя жизнь. Что я без него?.."

Увлеченная своими думами, тетя Яхши последние слова произнесла вслух.

— Мать! Что ты там жалуешься?

— Нет, голубчик!—сказала тетя Яхши, вскакивая с места.

Тахмаз принялся за ужин, а на дворе в это время мычала корова, блеяли овцы. Всего несколько лет тому назад этот двор был пуст, а сегодня он полон скота.

Разместив скотину, Яхши с внуком вошла в комнату, освещенную десятилинейной керосиновой лампой. На вымытых щеках Тахмаза вновь играл румянец молодости.

Тетя Яхши села поодаль от сына на войлоке, маленький внук прижался к бабушке

После трудового дня и сытного ужина Тахмаз спокойно протянул ноги и облокотился о мутаку.

Беседа матери и сына затянулась до глубокой ночи. Нач в разговор с посторонних предметов, мать свела его, наконец к женитьбе сына.

В первую минуту Тахмаз смутился и покраснел, но быстро овладел собой и стал внимательно слушать советы матери.

— Тахмаз!—заключила мать.—Хотя бы завтра найди девушку, вскормленную честным молоком, и мы сыграем тебе свадьбу.

Тахмаз хотел было признаться матери и сообщить ей о своей любви к Ясемен, но опять смущение охватило его, и он, не называя имени невесты, согласился с матерью:

☆

— Пусть будет по-твоему, мать!.. Ты права...

Они оба с нетерпением ожидали возвращения сватов. Тетя Яхши беспокойно металась между домом и двором, а Тахмаз, усевшись на бревне, шил своему племяннику чарухи.

День клонился к вечеру. Тень от недалекой скалы достигала двора Тахмаза. Когда эта тень покрыла всю деревню, на двор Тахмаза вошли три человека.

Тетя Яхши пошла им навстречу, ласково приветствуя их. Затем она схватила кувшин и побежала к роднику за водой.

Гости были — председатель сельсовета Юнис Мурадов, секретарь сельсовета и счетовод.

Тахмаз, не понимая цели их прихода, вошел с ними в комнату. Все молчали. Юнис, щелкая зернами четок, прервал молчание первым:

— Товарищ счетовод! Нам не зачем тут задерживаться. Начинай...

Затем он обратился к Тахмазу:

— Гражданин Тахмаз! Согласно закону о сельхозналоге, ты обложен индивидуальным налогом, как кулак. Сейчас мы должны при тебе составить список всего твоего имущества.

Тахмаз был поражен и не нашелся, что сказать.

В это время вошла Яхши за самоваром, чтобы вынести и вскипятить чай.

— Тетя Яхши! Не трогай самовара, его надо в список внести.

— В какой список, дорогой?

— Так, ничего...

Яхши взглянула на Тахмаза и перевела глаза на остальных. Тахмаз сидел мрачнее тучи. Когда секретарь объяснил все, Яхши залилась слезами. Она поставила на место пустой самовар, который все это время держала в руке. Словно сраженная в самое сердце, она беспомощно опустилась на землю и, прижав руки к груди, стала изливать свою жалобу:

— Милые! Несколько голов скота мой сын заработал батрачеством. Родного его племянника вы записали батраком. А ведь эта наша власть для таких, как Тахмаз. Как же это выходит, что дети молл и юзбаши не кулаки, а сын рабочего, двенадцать лет пробывший в батраках, вдруг причисляется к кулакам?

Слова матери протрезвили Тахмаза, вернув ему способность говорить.

— Ничего, мать! Кто хочет увидеть меня в кулаках, сам останется в дураках.

Председатель сельсовета пытался успокоить тетю Яхши.

— Зачем тебе расстраиваться? Сама ты говоришь, что советская власть справедлива. Пусть Тахмаз обратится в вышестоящие органы; если он не окажется кулаком, его освободят от налога. Зачем же поносить власть?..

Кровь бросилась Яхши в голову от клеветы Юниса.

— Не болтай много, негодяй. Прижитое бесчестьем дьявольское отродье!

— Ничего, тетя Яхши! Мы посмотрим, кто прижит бесчестьем. Твой сын хочет итти по стопам своего отца, головореза и кочи. Но теперь не те времена...

Тетя Яхши подошла к Юнису и, ударяя тыловой стороной правой кисти по ладони левой, начала кричать:

— Это твой дед был головорезом и насильником и заслужил свою участь. Пусть погибнет тот, кто строит козни против моего сына, пусть не знает он улыбки ра-

дости... Что делать! Все еще внуки юзбаши делают свое дело!..

Крики, раздавшиеся в комнате, заглушали радостный смех вошедших на двор сватов. Они вернулись с доброй вестью, но эта весть не перешагнула порога комнаты.

Сваты с удивлением переглядывались, ничего не понимая.

Уже стемнело. Со двора доносилось блеяние овец.

Словно обретя новую силу, Тахмаз медленно подошел к Юнису вплотную и сказал, твердо отчеканивая каждое слово:

— Мы сейчас не обсуждаем поведение моего отца. Ты записал меня кулаком и ладно. Если сумею, докажу, что я не кулак... Но никто не давал тебе права, пользуясь властью, сводить счеты за кровь твоего дедушки Мурада... Этого тебе никто не позволит...

От этих слов Юнис покраснел до ушей. Он вскочил с места и двинулся к выходу.

— Это провокация!—сказал он, обернувшись у порога.— Так могут говорить только кулаки, вроде тебя. Твой отец известный бакинский головорез, кочи. Недаром рабочие убили его и бросили труп в колодец. До сих пор тебе удалось скрыть это, но теперь довольно. Нечего много разговаривать. Подпиши акт и дай подписку, что не посмеешь ни трогать, ни продавать скотину и эти домашние вещи.

— Я никаких актов не подпишу.

— Значит, ты не признаешь советской власти?

— Власть признаю, а тебя нет.

— Я и есть власть.

— Прошу прощенья! – насмешливо раскланялся Тахмаз.

— Ладно! Видать, замашки твоего отца—кочи и тебе привились. Только едва ли они тебе помогут сейчас.

— Ты тоже не забывай, что и угрозы теперь не очень-то в почете.

Все ушли. В доме опять остались трое. Маленький Ильяс устроился у самых дверей. Тахмаз нервно ходил по комнате, а тетя Яхши говорила, стоя у окна со скрещенными на груди руками:

— Проклятый Юнис! Он отравил кусок хлеба, честно заработанный моим сыном!.. Пусть застонет твоя мать по тебе...

Посоветовавшись с матерью и обдумав положение, Тахмаз на другой день к вечеру позвал к себе сельского фельдшера и попросил его составить от его имени заявление в Москву, Сталину.

Фельдшер приготовил перо, чернила, бумагу и, подняв глаза на Тахмаза, спросил:

— Ну, о чем писать?

— Напиши, что я, Тахмаз Чобан-оглы, с 1915 года по 1925 год был батраком у сельских богатеев и кулаков. Вся скотина, какая у меня сейчас есть, заработана мною трудом за десять лет батрачества. Ильяс, которого записали моим батраком, мой родной племянник. Отец мой—старый бакинский рабочий.

— Все это так?—спросил фельдшер.—А какие у тебя документы о том, что отец твой был рабочим?

— На что документы?

— Без документов не поверят.

Тахмаз обернулся к матери.

— Мать!—сказал он.—Не сохранились ли у тебя какие-нибудь бумаги отца?

— Какие бумаги, милый?

— Да вот, насчет того, что он был рабочим.

Тетя Яхши задумалась, вспоминая о далеком прошлом, словно перелистывая книгу жизни.

II.

Юзбаши Мурад, проводив пристава до горы Гобак, в сопровождении своего стражника возвращался в селение. Через его плечо была перекинута винтовка, на груди крест-на-крест красовались патронташи.

Был конец мая. Они ехали по проселочной дороге. Вдали от дороги, на зеленом склоне холма, паслась отара овец. Повыше лежал на траве пастух Чобан и играл на свирели. Возле него с обеих сторон лежали овчарки.

Доехав по дороге до отары, юзбаши повернулся к стражнику:

— Хорошо бы шашлыком полакомиться, а?

— Да, было бы недурно, дядя Мурад.

— В таком случае поезжай за мной.

Свернув с дороги, они поехали к баранте. Собаки поднялись и с громким лаем бросились к ним навстречу. Чобан пустился бежать за собаками, крича и размахивая дубиной. Серая овчарка, подпрыгнув, схватила юзбаши за ногу. Не успел Чобан добежать до всадников, как юзбаши снял винтовку и, прицелившись, выстрелил в овчарку. Она перекувырнулась и упала замертво.

У Чобана зарябило в глазах. Ему показалось, что высокие скалы с размаху обрушились на его голову. Не

имея сил сказать что-нибудь, он застыл без движения на месте.

Разгневанный юзбаши, не утолив жажды мести, пришпорил лошадь и подскакал к Чобану. Размахнувшись плетью, он хлестнул его по спине.

— Ты, медведь проклятый!—кричал он.—Почему не сдержишь своих псов? Разве не знаешь, что хозяин должен быть ловче своей собаки. А что, если я и тебя пристрелю и уложу рядом с твоим псом? Осел!

Чобан еле сдерживал ярость. Удар плети, ожегший спину, помутил его рассудок. Не желая связываться с юзбаши, он отбежал в сторону. Его бегство еще больше раззадорило Мурада, и он припустил лошадь за ним, одновременно моргнув стражнику, чтобы тот выбрал жирного барана.

Увидя стражника, поскакавшего к баранте, Чобан остановился. В это время юзбаши Мурад настиг его и поднял плеть, но вдруг узловатая палка Чобана быстро взлетела вверх и ударила в висок юзбаши. Он накренился в седле и упал наземь. Испуганная лошадь поскакала в сторону.

Чобан подошел к юзбаши; тот был мертв. Чобан поднял винтовку, отвязал пояс с кинжалом и пантронташи и пустился за стражником.

Завидя его издали, стражник дал несколько выстрелов в воздух и помчался сообщить о случившемся приставу.

Чобан стал на колено и, подняв винтовку, начал целиться, но когда его палец нажал на собачку, стражник уже перевалил через хребет и скрылся с глаз.

Чобан вернулся к трупу своего пса. Второй пес с визгом бегал и кружился тут же

Отара спускалась в долину. Солнце стояло в зените. Чобан отозвал пса и побежал за лошадью юзбаши. Поймав лошадь, он сел на нее и поехал в темное ущелье. Спрятав там оружие и лошадь, Чобан поспешил в деревню.

Всего пять месяцев прошло, как Яхши стала женой Чобана. Сидя на дворе, она ткала хурджин.

Солнце жгло нещадно, и она, перебросив на старую веревку черную чоху Чобана, сидела в ее тени.

Яхши уже собиралась снять готовый хурджин со станка, когда, задыхаясь от быстрого бега, вошел Чобан.

Яхши оставила работу и взглянула на мужа. Тот молча прошел в комнату. Яхши последовала за ним.

Чобан был весь красен от волнения.

— Ты кончаешь свою работу?—спросил он.

— Кончаю... А что?.. Скажи, ради аллаха, Чобан, что случилось? С тобой что-то произошло.

Чобан медленно подошел к жене и рассказал ей все, как было.

Яхши стояла, остолбенев от удивления. Наконец, всплеснув руками, повернулась к мужу:

— А чужая баранта? А наш дом? Фу, да разрушится дом злодея?..

Она вышла из комнаты.

Когда солнце стояло над горой, собираясь на покой, Яхши сняла свою работу со станка.

Вечером они собрали кое-какие вещи, которые могли взять с собой, набили ими только что вытканный хурджин и темной ночью вышли из села.

Дойдя до ущелья Чобан сел на лошадь, посадил за собой Яхши, и они скрылись в темноте.

Холодной зимней ночью Чобан и Яхши сидели в своей убогой комнатушке и тихо беседовали. Чобан рассказывал жене о положении рабочих.

— Трудно жить, Яхши,—говорил он.—Нам еще повезло, что мы встретились с уста Талыбом, иначе мы бы совсем погибли...

Яхши поднялась и, собрав несколько дощечек, выпачканных в мазуте, бросила в железную печь и, снова подсев к мужу, начала вязать узорчатый шерстяной чулок.

— Как ты думаешь, Чобан,—сказала она мужу,—не подарить ли нам эти чулки уста Талыбу. Он много добра нам сделал, сразу устроил тебя на работу...

— А что же,—ответил Чобан.—Это было бы очень даже не плохо.

Уже больше трех месяцев, как Чобан работал на нефтяных промыслах чернорабочим. Старый мастер уста Талыб был ласков с Чобаном и помогал ему. Он тоже был из Карабаха и поэтому особенно хорошо относился к своему земляку. Несмотря на преклонный возраст, уста Талыб еще не был женат. Он довольно часто заходил к Чобану, ел у него свои родные блюда, которые Яхши готовила с большим уменьем. Так мирно и дружно жили земляки, помогая и поддерживая друг друга.

На пятый месяц работы Чобана на промыслах, уста Талыб как-то подозвал его к себе и тихо сказал:

— Чобан! Скажи Яхши, чтобы завтра к обеду показала свое мастерство. Я приведу к вам дорогого гостя.

В знак согласия Чобан приложил руку к правому глазу.

На другой день за обедом у Чобана сидел и новый гость. Он с аппетитом ел приготовленный Яхши плов, порой оглядываясь на бедную обстановку комнаты, деревянную кровать, сколочённую самим Чобаном из старых досок и застланную рваной постелью.

После обеда Чобан уложил гостя на эту кровать отдохнуть.

С этого дня они стали встречаться довольно часто. При каждой встрече, видя его ласковую улыбку, Чобан невольно забывал о своих горестях и неудачах.

Гость крепко пожимал его руку и, дружески хлопая по плечу, говорил:

— Чобан! Братец! Работай! Работать надо!..

Сильный норд неистовствовал в Баку. Каспийское море бурно рокотало. Прохожие морщились и жались от холода, словно между природой и людьми была кровная вражда.

В один из таких дней гость, которого Яхши прозвала Губадом, беседовал с уста Талыбом о Чобане. Уста Талыб рекомендовал его, как стойкого, верного, преданного человека.

— Надо на деле испытать его!—ответил гость, серьезно глядя на уста Талыба.

Уста Талыб не возражал и попросил дать Чобану на испытание какое-нибудь поручение.

— Через три дня,—сказал гость,—одиннадцать человек из наших товарищей будут вести по этой улице в Баиловскую тюрьму. Чобан должен перерезать тут свет, чтобы дать нам возможность освободить товарищей.

Уста Талыб задумался. Гость внимательно следил за выражением его лица.

— Товарищ Коба,—сказал, наконец, уста Талыб,—на этот счет можете быть уверены.

Зайдя к Чобану, уста Талыб передал ему поручение Кобы и добавил, обращаясь к супругам:

— Друга испытывают в нужде. Губад хочет поближе подружиться с вами. Теперь вы должны доказать свою дружбу...

— Конечно, конечно!—вмешалась Яхши.

— Слушаюсь,—сказал Чобан, глядя в глаза уста Талыбу.— Ты же меня хорошо знаешь. Ради друга я готов пожертвовать жизнью. С первого дня я полюбил Губада. Сразу видно, человек он умный, смелый, мужественный, энергичный. Ничего не боится, держит себя просто, говорит искренно. В самые

тяжелые минуты жизни находит такие слова, что в один миг забываешь о своем горе. Он настоящий мужчина, храбрец! Если он поручает мне это дело, я его с готовностью исполню, если бы даже мне угрожала смерть. Увидишь его, так скажи, чтобы не сомневался.

В маленькой комнатушке Чобана находилось до пятнадцати человек. Вместо десятилинейной лампы, обычно освещавшей эту комнату, теперь горела в ней лишь одна сальная свеча, и при ее свете люди с трудом различали лица друг друга.

Тут же был и Коба.

За дверью сторожила их Яхши.

— Знаешь, Чобан!—сказал Коба, обращаясь к хозяину. —Мы снова вернули к жизни одиннадцать наших товарищей. Спасибо тебе. Я много раз сидел у тебя за столом, причинял тебе много хлопот. И за все это я от души благодарю тебя. Ты мужественный, верный человек.

Чобан был сильно смущен.

— Я человек деревенский,—сказал он прерывающимся голосом.—Я настоящий пастух. У нас слово с делом не расходится: если сказал, значит, конец. Для храбрецов я готов на все. Губад! Я часто слышу твои речи о жизни рабочих и крестьян и вижу, что ты от сердца хочешь им добра, жертвуешь всем ради этого. Раз ты так стараешься для крестьян, то и мы ведь мужчины! С этого дня я объявляю тебя своим братом. Завтра же найду и моллу, чтобы он освятил наше братство.

Коба рассмеялся. Глаза всех товарищей были прикованы к нему. Лицо Кобы светилось радостью и лаской.

— Всегда испытывайте друга в трудном деле,—сказал он.—Не доверяйте всякому, кто вам улыбается и называет вас своим другом. Попав в беду, не теряйтесь, будьте выносливы и стойки.

Чобан внимательно слушал его, зорко всматривался в его лицо.

В это время вошла Яхши.

— Тушите свечку,—сказала она тихо.—На дворе какой-то шум.

Она снова вышла на двор.

В комнате Чобана наступила тишина. Когда Чобан поднялся и задул свечу, Коба сказал:

— Не надо тушить! Это вызовет подозрение!..—и он снова зажег свечу.

Так впервые сверкнуло пламя, зажженое им в Баку.

☆

Яхши часто смотрела на карточку и с трудом расставалась с нею. Коба посещал их нередко, но она стеснялась особенно пристально разглядывать гостя, поэтому теперь по карточке изучала его лицо.

„Наверное, и он, как Чобан, убил кого-нибудь и вынужден был бежать, скрываться,—думала она.—Нет, он слишком добр для этого. Он не способен на убийство. Вероятнее всего, ему отказала возлюбленная, и он ушел из своей деревни. Кто знает, а может быть просто в деревне преследовали и обижали его. Теперь и его мать смотрит с тоской на дорогу, ожидая сына. Пусть в день страшного суда он будет моим родным братом, хотя мы и разной веры. Прекрасный человек! Если бы знать, помолвлен он или нет? Если бы не рассердился... Нет, он не рассердится, но мне как-то неловко, не то бы спросила: братец Губад, есть ли у тебя невеста?.. Да сохранит его аллах!"

На обороте карточки была какая-то надпись. Яхши положила карточку в свой сундук и хотела закрыть крышку, как вдруг вошел сильно расстроенный Чобан. Он остановился посередине комнаты.

Яхши отпустила крышку сундука, и она захлопнулась с громким шумом. Этот шум нисколько не подействовал на Чобана.

— Чобан! Что случилось?—вскрикнула Яхши.—Скажи, из деревни что-нибудь? Получена бумага? Или ищут тебя?.. Скажи же...

Чобан поднял на жену полные горя глаза.

— Хотя бы меня арестовали и расстреляли,—сказал он сквозь зубы.

— Что случилось?

— Губада арестовали...

— Губада? Арестовали? Кто?

— Враги...

Муж с женой, сблизив головы, долго делились тревожными мыслями.

В этой самой комнате за этим самым столом всего несколько дней назад сидел их любимый друг Коба. Вот он поднимается, говорит Чобану „спасибо" и жмет им руки.

Комната была погружена в могильную тишину. Ни Чобан, ни Яхши не могли примириться с мыслью, что этот обаятельный человек, так часто запросто заходивший в эту

лачугу бедняка, теперь сидит в темной камере тюрьмы. Как могли допустить это его друзья?

Об этом и говорили муж с женой. Они строили планы, как помочь ему, отнести ему хлеба, белья, спасти его из тюрьмы.

— Чобан!—говорила Яхши.—Помнишь, Губад всегда горил: попадая в беду, не теряйтесь, будьте стойки и терпеливы. Сто раз измерь, один раз отрежь. Не унывай, Чобан. Позови уста Талыба. Посоветуемся вместе. Узнаем, в какой тюрьме сидит Губад, я приготовлю кое-что, и вы отнесете ему, поддержите его, ободрите его. Тут как раз и надо проявить свою дружбу.

Чобан с трудом поднял отяжелевшую, словно придавленную камнем, голову и внимательно выслушал жену. Потом, ни слова не говоря, он вышел из дома и отправился искать уста Талыба.



У ворот баиловской тюрьмы стояли двое, переминаясь от холода. Прием передачи для арестантов еще не начинался. Через плечо Чобана был перекинут новый хурджин. Яхши держала в руке узел.

Муж с женой с нетерпением ожидали, когда откроются ворота этой каменной могилы для живых.

„Хотелось бы знать, —думала Яхши, здесь Губад или нет? Что делают его товарищи? Чем он занят в эту минуту? Если у него есть мать или сестра, то непременно он приснился им ночью."

Ворота тюрьмы не открывались, а холод становился резче. Яхши посмотрела на Чобана. Его лицо, только два дня тому назад горевшее ярким румянцем, теперь было блекло и бескровно, словно его иссушила лихорадка. Этот болезненный вид Чобана не на шутку встревожил Яхши.

—Чобан, – сказала она, прижимаясь к нему.—Недаром говорят—человек полагает, а бог располагает. Я мечтала о том, чтобы наполнить этот хурджин домашними печениями и дать Губаду, когда он будет ехать домой, к матери, но вышло так, что в этом новом хурджине нам пришлось нести передачу Губаду в тюрьму.

Эти слова Яхши подействовали на Чобана сильнее колющего холода, и он пожалел, что у него нет силы, способной распахнуть ворота тюрьмы, войти внутрь и, сорвав железные решетки камер, выпустить на волю всех арес-

тантов, заточенных в эти темные клетки, и, прежде всего, своего друга.

„Богдаст, отпустят его... Опять он к нам придет... Ему очень нравился мой жирный бозбаш. Я сварю ему бозбаш из баранины... Да исполнится желание друзей! Эй, скиталец имам-Риза! Облегчи участь всех обездоленных и попавших в беду, в их числе и участь нашего брата Губада!..“

Пока Яхши мысленно молилась имаму, в воротах тюрьмы открылось небольшое окошко.

Они радостно бросились к окошку, словно за ним могли увидеть Губада.

— К кому вы?

— Губад—наш брат, вчера арестован... Ни за что, ни про что... Враги наговорили...

Они передали внутрь хурджин. Тюремный надзиратель достал содержимое хурджина и стал проверять.

— Две смены белья,—перечислял он,—две пары носок, одна из них узорчатая, фуфайка—одна штука, печения—столько-то... За хурджином последовал узелок Яхши, котел с еще не остывшей кашей. Надзиратель помешал ложкой в каше и, не найдя ничего подозрительного, принял передачу и захлопнул окошко.

Спустя долгое время, вновь открылось окошко, и надзиратель сунул Чобану исписанный с обеих сторон листок бумаги.

— Хоть бы знать, что он пишет?..

— Отнесем уста Талыбу, он нам прочитает.

Оба они радостно пошли к дому.

Целый день Чобан тщетно искал уста Талыба. Когда морозная зимняя ночь опустила свои крылья над городом, Чобан направился к своей хибарке, где с беспокойно бьющимся сердцем ждала его Яхши. Ей хотелось поскорее узнать содержание записки Губада.

„Получил ли он все в целости?—тревожно думала она. —Будь проклята бедность! Нужно было бы передать ему хорошую сумму денег, купить для него теплую одежду. Господи, помоги нам в этом горе! Не допусти, чтобы его мать и сестра остались в слезах! Облегчи его тяжелую участь!..“

Усталыми, нерешительными шагами вступил Чобан в комнату. Яхши бросилась к нему:

— Где же уста Талыб?

— Не нашел.

— Как не нашел?

В густом ночном мраке ночи тишина в комнате казалась зловещей.

Муж и жена, словно перессорившись, сидели по разным углам. Чобан опять возвращался к своей давнишней мысли стать качахом, собрать вокруг себя отряд всадников, отыскать где бы то ни было Губада, снять кандалы с его ног и освободить его.

„Завтра же с утра я уйду в горы... Днем раньше, или днем позже, один путь к смерти. Прожить на этом свете лишних пять дней не имеет значения...Ни за что, ни про что задержать такого чудесного человека и заточить в тюрьму?.. Я, дескать, правительством называюсь! Если ты хорошее правительство, занимайся благоустройством страны... Вот, сяду я завтра в седло, тогда попробуй доказать мне, что ты за правительство! Не то я такие штуки выкину, что рот разинешь!..“

☆

Яхши стирала на дворе белье Губада, который только что вышел из тюрьмы и, выкупавшись в бане, теперь отдыхал на самодельной кровати Чобана.

Яхши плотно притворила дверь в комнату, чтобы шум снаружи не беспокоил гостя, и продолжала стирать, говоря про себя:

„Господи, благодарю тебя! Завтра я порадую нищих, раздам им милостыню. Губад вернулся живым и невредимым“.

Чобан поступил так, как говорил. На серой лошади он напоминает самого качаха Наби, с той только разницей, что при Наби находилась его жена Гаджар, а жена Чобана — Яхши — оставалась дома. Чобан одет опрятно, вооружен хорошо.

На груди, как звезды, горят патроны, ярко блестят револьвер на поясе и винтовка за плечом. Серая лошадь беспокойно бьет копытом землю, не успокаиваясь ни на минуту.

Чобан оглядывает верных тридцать товарищей, бесстрашных бойцов, и объясняет им всю важность и ответственность предстоящей операции.

— Проверьте подпруги лошадей и свое оружие.

И сам тоже оглядывает лошадь, ощупывает револьвер, кинжал, патронташ, винтовку. Вдруг он замечает привязанный к седлу новенький хурджин и тяжко вздыхает:

— Эх, судьба!..

Отряд мчится за ним к шоссейной дороге. Из-под копыт лошадей летят искры. Они проезжают по узким тропам, переваливают через горы, оставляют за собой ущелье, летя словно птицы.

Лошади покрылись пеной. Спеша к цели, Чобан отпускает повод серого коня, и тот скачет во весь опор.

Вдали тянется широкое шоссе. На нем показываются темные пятна, вскоре скрывающиеся за холмом. Увидя это, Чобан командует отряду:

— Полным ходом!—и мчится вперед еще быстрее.

Из ноздрей коней вырываются клубы пара. Они мчатся уже по шоссе, нагоняя группу людей. Из них—пятеро всадников, остальные пешие.

Чобан пришпоривает коня, и тот, словно оторвавшись от земли, несется пулей.

Всадники, сопровождающие пеших, останавливаются, оглядываются назад и открывают огонь по Чобану. Пули летят над самой головой Чобана.

Услышав выстрелы, бойцы Чобана начинают со всех сторон наступать на неприятеля и окружают его. Неприятель хочет бежать, но бежать некуда.

Чобан спрыгивает с лошади и бежит прежде всего к Губаду, чтобы разбить его кандалы, обнять его крепко, прижать к груди, потом посадить на серого коня и повезти домой...

Раздается сильный стук в ворота, и размечтавшийся Чобан вскакивает с места... Этот стук разбудил Кобу, который в одно мгновение исчез из комнаты, чтобы не создавать неприятностей для Чобана и его жены.

Чобан вышел к воротам.

На двор ввалились трое вооруженных.

— Хитрые лисицы! Устроились в темноте!—проговорил он, врываясь в полутемную комнату, и велел зажечь лампу.

Через несколько минут начался допрос. Во время обыска Чобан, улучив момент, достал из кармана лист бумаги, смял его и сунул в рот, но не успел проглотить.

Заметив это, один из пришедших ударил его по щеке, и скомканный лист выпал изо рта.

Его подняли и передали приставу. Тот расправил бумагу и, поднеся к лампе, прочитал: „Чобан! Передачу вашу получил. Большое спасибо. Обо мне не беспокойтесь. Будь осторожен, береги себя. Хурджин я оставил у себя. При-

годится. Будем здоровы—увидимся. Берегите себя. Привет уста. Губад.“

Прочитав записку, пристав спрятал ее в портфель и поднял лицо к Чобану:

— Ну, мерзавец! Еще мусульманином себя называешь! Мало того, что впускаешь к себе государственных преступников, еще передачи им таскаешь в тюрьму. Говори, что за уста?

— Не знаю.

— Как не знаешь?

Тут вмешалась перепуганная Яхши:

— Дорогой! Ты объясни толком, что тебе надо от нас?

— Вам достаточно уже объяснили все. Нечего тут притворяться дураками.

Чобан молчал.

Ему связали руки за спиной и увели куда-то; Яхши не тронули, как беременную.

Склонив голову к косяку двери, она горько заплакала. После того она более не видала ни Губада, ни уста Талыба, ни Чобана.

На утро ее выбросили из ее комнаты и велели выехать из Баку. Она собрала в хурджин свои жалкие пожитки, сложила туда кое-какие бумаги, оставшиеся от мужа, среди них и самую дорогую для нее вещь—фотографическую карточку, и отправилась в деревню.

В этот самый год и родился Тахмаз...

III

— Прошло больше двадцати лет, как погиб твой отец, сынок,—сказала тетя Яхши.—Кое-какие бумаги, оставшиеся после него, я сохранила в своем узелке. Сейчас поищу, авось найдется что-нибудь...

С этими словами она достала из сундука узелок и начала рыться в нем. Вскоре она нашла там небольшую связку бумаг и, передав их фельдшеру, стала убирать узелок. Фельдшер развязал бумаги и принялся рассматривать их. Он прочитывал дату каждого документа, пробегал глазами его содержание и бережно откладывал в сторону.

И вдруг—среди бумаг его внимание привлекла фотографическая карточка, на которой были сняты три человека. Фельдшер впился глазами в того, который сидел посередине. Это был молодой Сталин.

Фельдшер подскочил на месте и восторженно крикнул:

— Тахмаз, Тахмаз!..

Он не мог продолжать. Держа карточку в руке, он кружился по комнате и возбужденно смеялся.

Удивленная его поведением, тетя Яхши оставила свой узел и начала смотреть на обезумевшего фельдшера.

— Что такое, детка? Что случилось? Или ты смеешься над моим брачным актом?—говорила недоумевающая тетя Яхши.

— Нет, мать!—наконец, сказал фельдшер.—Я нашел вещь, которая цены не имеет.

Яхши была сильно заинтересована и, бросив узел, подошла к фельдшеру, заглянула на карточку.

— Ты знаешь их?—спросил фельдшер.

— А я думала, что он нашел такое особенное!—разочарованно промолвила тетя Яхши.—Как же мне не знать их! Вот, это уста Талыб!—сказала она, кладя палец на сидевшего с края.—Это Губад, а это отец Тахмаза!

При этом она глубоко вздохнула.

— Тетя Яхши!—радостно сказал фельдшер.—Тот, кого ты называешь Губад, не кто иной, как товарищ Сталин. Выходит, что, будучи рабочим в Баку, отец Тахмаза знал товарища Сталина и работал с ним вместе.

— Так ведь его звали Губадом!—возразила тетя Яхши.—Он часто бывал у нас. Неужели же это и есть Сталин!

— Да, да, тетя Яхши! Это наш Сталин!..

— Да сохранит его аллах! Знаешь, какой он был человек! Сказать не могу!

Тетя Яхши прослезилась от радости.

— Ах, если бы мне еще раз взглянуть на него!—добавила она со вздохом.

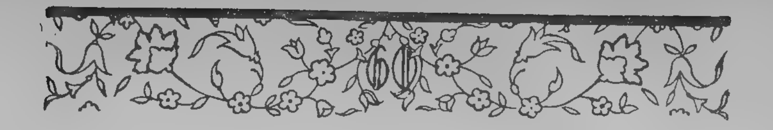
Фельдшер кончил писать заявление и снова начал разглядывать карточку. На ее обороте была надпись:

„На память искреннему другу Чобану от Кобы".

Все трое, наклонившись над столом, не могли оторвать глаз от карточки.

А Тахмаз думал о том, как он даст увеличить этот снимок и повесит на стене, чтобы радость, доставленная им, постоянно наполняла их жилище и ярко освещала их новую счастливую жизнь.

3/XI 1939 г.
Баку.



Самвел Григорьян

ГОРИ

Я вступаю в тебя, как в чудесный чертог.
Обнимает прохладой меня ветерок.
Гори, город прекрасный, прославился ты,
Как великий очаг лучезарной мечты.
Вот родник, он журчит, по долине стремясь,
Он сверкает, струя бирюзу и алмаз.
Глянул я—и душа приподнялась, легка,
Он, быть может, из этого пил родника.
— Да, — сказали цветы по краям родника,—
От дыханья его мы оделись в шелка.—
Прошумели вершины зеленых лесов:
— Мы надежными братьями были Сосо.—
Прошуршали деревья листвой расписной:
— Мы друзья ему были и в холод, и в зной.—
Подлетел ветерок и сказал ветерок:
— Знаешь, сколько прошли мы путей и дорог?
Словно ветер свободен, крылат и упрям,
Он скитался со мной по горам, по долам.
Зрели гордые думы в его голове,
От горы до горы он парил в синеве.—
Мчится долом Кура на крылатом коне,
— Стой,—она говорит,—мир завидует мне.
Он купался в моей полноводной волне,
Он мечту огневую поведывал мне,
И была та мечта высока и вольна,
Как моя грозовая крутая волна.—
— Не бахвалься, сестра, позавидуй горе,—
Отвечают окружные горы Куре.—

С колыбели орлом суждено ему стать,
А орлам лишь высокие горы подстать.
А раздумья его, обновившие век,
Это—тысячи бурных рокочущих рек.
А дерзанья его выше горных вершин,
Чище наших, сияющих снегом, седин.—

Горы, горы, стою и смотрю до утра
На вершины, одетые в солнечный снег.
Это он—величайшая в мире гора,
Озаренная славой могучей навек.





Э. Талет

САЗ НА ПАМЯТЬ

— О, агалар! В глазах моих
Покрыли мир зимы седины.
Темницей кажется мне луг
С цветами, с песней соловьиной.
Грудь тех, кто правду говорит,
В крови горячей и невинной.
Дрожит израненный олень
В горах, над страшною стремниной,
И в цепких филина когтях
Птенец трепещет соколиный.

Внимайте все моим речам.
Горят алмазным блеском горы.
Возлюбленная! Я в огне:
Меня твои сжигают взоры,
Твой стан, походка, светлый лик,
Улыбка, сладость разговора.
О старый мир! Тоску мою
Не уместят твои просторы,
И смерть от черных рук врага—
Мое лекарство от кручины.

Да, вся вселенная пуста
Без красоты, над нами властной.
Есть разве прелесть у озер
Без стаи лебедей прекрасных?
И жизнь бы проклял человек,
Не будь весны, живой и ясной.

О мудрецы! Кем стану я,
Коль сад оставлю сладкогласный?
Он у слепца—и мир горит
В лучах, блестящих, как рубины!

Ашуг в тревоге ходит, полон дум,
Как море, беспокоен и угрюм.
В его глазах весь мир затянут тьмой,—
Он изуродован природой злой.
Певучий саз берет слепой поэт,
Как нерушимой верности обет.
В огне любви сгорает он давно,
Ему лишь горе в жизни суждено.
Не видит солнца он, луны и звезд,
Но свил в сердцах он песней много гнезд.

Мир скрыт от глаз, но страсть живет в крови,
И он поет о цветниках любви.
Он кружится в огне своих страстей,
Безумен, как влюбленный соловей.
В его глазах весь мир затянут тьмой,—
Он изуродован природой злой.
О, если б светлый мир он видеть мог!
И над челом любимой завиток,
И облака, бегущие в простор,
И снежные венцы высоких гор...
Чем помогу, о бедный мой ашуг!
Я понимаю боль глубоких мук.
Желанье видеть в сердце ты хранишь
И в пламени тоски своей горишь.

Рукою с важностью упершись в бок,
Крутя усы, помещичий сынок
Корит певца:—Не хвастайся, смотри.
Хоть криво сядь, но прямо говори:
Век проведешь ты в жалкой слепоте,
Ты был рожден в грязи и нищете.—
И от обиды покраснел ашуг,
Смолк соловей, огонь померкнул вдруг.
Хохочет бек. Ответ певца не скор.
Бедняк! Ему ль вступать с богатым в спор.
Но сердца не сдержал слепой поэт
И бекскому сынку дает ответ:
— Сон отряхнув, отрадно утром встать,
Чтоб кудри милой в косы заплетать.

Порою зрячий видит только вздор—
Слепцу ж открыт миров иных простор. —
Лицо певца блеснуло, как гроза.
У бека гневом вспыхнули глаза.
Он злобно, крикнул:—Бейте наглеца!—
Обрушились удары на слепца.
Но саза звонкострунного из рук,—
Любовь свою, не выронил ашуг.
Не разлучить с ним никогда певца.
О, как верны высокие сердца!
Ашуг избитый вышел за порог.
Ему мгновенья счастья не дал бог.
Куда итти? Куда направить путь?
Где от нужды и горя отдохнуть?
За стены он хватается рукой,
Шатается, как от метели злой.
Земля и небо, и глаза певца
Черны, и у людей черны сердца!
Вдруг он споткнулся и упал, и стон
Летящим мимо ветром унесен.
Но чья рука ашуга подняла?
Кто голубя избавил от орла?
Нашелся человек, услышал крик
И руку протянул в тяжелый миг.
К нему прижался, как дитя, ашуг.
Упал на грудь, в объятья братских рук.
— Мой сын! Тысячелетия живи!
Меня ты поднял силою любви.
Я слышу сердца стук. Ты человек!
Чем отплачу я за добро во век.—
— Ашуг! Какой в твоей заботе толк?
Творить добро—то человека долг.
Народу нужен ты. Не унывай.
Ты на земле увидишь светлый рай.
Пускай трепещет враг, пускай живет
Ашуга вдохновляющий народ.—
— Нет, нет, мой сын... Когда я ниц упал,
Казалось, камни рухнули со скал.
И я сказал: вот мой пришел конец.
Слепые очи мне сомкни, творец!
Жизнь для меня черна. Я нищ и слеп.
Моя душа—могила, сердце—склеп.
Спасибо! Если б друг меня не спас,
Что было бы с тобой, заветный саз?—

Горит душа. В смятении ашуг.
Томит обида, зло и горечь мук.
— Мой сын! Свое мне имя назови.
Познал и я дыхание любви...—
— Ты хочешь имя знать мое? Йолдаш!
Славней, чем это, имени не дашь.—
— Йолдаш! Одно мгновенье погоди.
Ты видишь, саз прильнул к моей груди.
Моя любовь и сердце—этот саз,
Мой верный друг и мой правдивый сказ.
Увидимся ль с тобой в другие дни?
О нашей встрече память сохрани.
Мой саз—моя манящая звезда.
Возьми его в подарок навсегда!—

Закончил речь свою ашуг,
Трехструнный саз к груди прижал,
И вот от пения певца
Затрепетали камни скал:
    Я слезы лью, как облака.
    Бурлю, как быстрая река.
    И в сердце рана глубока:
        Из-за тебя, прекрасный друг,
        Изранил грудь свою ашуг.

    Увял цветок—жесток мороз.
    Плачь, соловей, над цветом роз.
    Люблю колосья пышных кос.
        Дверь распахни. Услышав стук,
        Вздыхаю я от горьких мук.
    Ее ты птицей не зови.
    Вся грудь ее в густой крови.
    Пускай умру я от любви—
        Плоды в саду блестят вокруг,
        Не умирает песни звук.
—Мой саз—моя манящая звезда,
Возьми его в подарок навсегда.
Пусть будет он с тобою до конца.
Напоминает бедного певца.—

Уста—к устам. Объятия крепки,
Как небеса, сердца их широки.
Пошел Йолдаш. Глядит вослед ашуг,
Уступы гор вздымаются вокруг.
Йолдаш дошел до сумрачной скалы.
Вот в небесах, одетых дымкой мглы,

Проходят караваны облаков.
Сады, селения, цветы лугов
Его приветствуют среди долин.
Он—мира светлого великий сын!
С горы спустился он на свежий луг,
И поднял руку вверх слепой ашуг,
Как будто человека славил он,
Того, кто вечной истиной зажжен,
Как будто бы приветствия послал
Он совести, прозрачной, как кристалл.

И ровно тридцать лет прошло с тех пор.
Мой край оделся в маковый убор.
Рассеялась над миром ночи тьма,
Растаяла суровая зима.
Теперь цветет родимая страна,
Теперь царит в ней вечная весна.
А где ашуг? Где сладостный певец?
Ужели песням наступил конец?

Нет, нет, поэт! Ошибся в этом ты.
Как мать, полна отчизна доброты.
Не потускнеет красная заря,
И созидатель—человек, горя,
Встречает жизнь в сиянии зари
И сердцу-соколу велит:—Твори!
Навек разбита мрачная тюрьма.
Где вой метелей, где ночная тьма?
Живет любовь народа, вождь и друг—
Бессмертный человечества ашуг!
А человек, что тридцать лет назад
Был слеп, но совести бесценный клад
Хранил в душе,—из мрака вырван им.
О родина! Твой блеск неугасим!

Простая комната. Спокойный час.
С гвоздя снимает Сталин звучный саз.
И с думой долгой на него глядит:
Какую мощь в себе народ таит!
И вот пред взорами его встают:
Хребты, утесы—соколов приют,
Баку в горячем золоте огней,
Герои гордой родины моей,
В сияньи вечной славы Кер-оглы.
Как дни отчизны дивны и светлы!

На стену Сталин вновь повесил саз.
Его рукой ласкал он много раз...
Вот в комнату легко вошел ашуг,
И ясен взор его. Глядит вокруг.
— Скажи, меня ты не узнал, ашуг?—
Промолвил Сталин.—Я твой верный друг.
Теперь твоих очей не тронет тень.
Они теперь светлы, как ясный день.
Как верный друг, я говорю с тобой.
Певец счастливый ты в стране родной.
Возьми свой саз, возьми его, ашуг,
Пусть в небо рвется вольной песни звук.
Я тридцать лет заветный саз хранил,
Он памятью о днях минувших был.—

И бросившись вперед, как верный брат,
Ашуг жмет руку Сталина рукой.
Сверкает солнцем лучезарный взгляд.
Как передать в стихах восторг живой?
Ашуг жмет руку Сталина рукой.

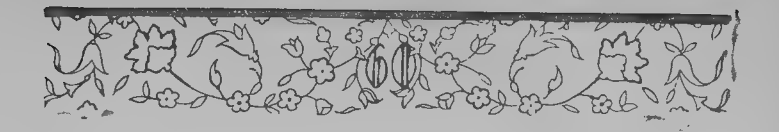
Как жадно смотрит на него певец!
Вот, вот она—спасения рука.
Как близок сын народа и отец!
Смерть за него отрадна и легка.
Вот, вот она—спасения рука!

То он! То он! Знакомой речи звук,
Льет слезы ясной радости старик—
Сын светлой родины, ее ашуг.
Пускай поймет эпоха этот миг.
Льет слезы ясной радости старик.

Но быстро высохли они. Смотри:
Два друга обнялись—ашуг и вождь.
Пусть обновится мир в лучах зари,
Пусть хлынет радостью весенний дождь.
Два друга обнялись—ашуг и вождь.

Ашуг молчит...О незабвенный час!
Не нужно слов, коль сердце говорит.
Спою о Сталине я. Дайте саз!
Пусть по земле и в небе песнь гремит.
Не нужно слов, коль сердце говорит.

Не солнце он в пустыне небосвода,
Не океан, несущий бурно воды,—
Он Сталин-гражданин и человек,—
Создавший мир отрады и свободы.



Мехти Гусейн

ФАНТАЗИЯ

I

Приближаясь к своему дому, Мешади-бек издали заметил агента охранки. Тот стоял, прислонясь к фонарному столбу, недалеко от его подъезда.

Мешади-бек ускорил шаги.

За последние три дня этот субъект неотступно преследовал его. И теперь, дымя папиросой с длинным мундштуком, он исподлобья смотрел на Мешади-бека.

Мешади-бек, как ни в чем не бывало, быстро подошел к подъезду и нажал кнопку. Глянув мимоходом на агента, он усмехнулся про себя:

„Нет, каналья! Я тебя насквозь вижу!"

Дверь раскрылась, и Мешади-бек лицом к лицу столкнулся со своей тещей. Она уперлась рукой о грудь Мешади-бека и слегка оттолкнула его назад.

— Постой, постой!—проговорила она.—Не врывайся. Пока не подаришь, не впущу...

Мешади-бек еще раз быстро, через плечо взглянул на полицейского агента, попрежнему подпиравшего фонарный столб.

— Постой, матушка!—сказал он теще.—Мне не до того. За мной следят.

— Знать ничего не знаю,—заупрямилась старушка.— Пока не дашь подарка, не впущу.

Всем телом она загородила вход и твердо стала на месте.

— Если бы и моя дочь родила, как другие, дочку, ты был бы прав, но моя дочь родила сына, понимаешь, сына!

При этих словах Мешади-бек забыл обо всем и, сунув старухе сверток, принесенный подмышкой, вбежал в комнату.

В доме было настоящее торжество. Родня радостно шумела и суетилась.

Старуха Селимназ то бегала посмотреть на женщин, варивших гуймах, то устремлялась в спальню полюбоваться внуком.

Подруги молодой матери сидели вокруг кровати. Одни таинственно шептались, другие пробовали гуймах, третьи, указывая на вошедшего в комнату Мешади-бека, говорили:

— Вот отец новорожденного!

Мешади-бек, которому очень хотелось прорвать этот круг и подойти к жене, вдруг почувствовал неловкость, остановился, забыв даже поздороваться с гостями. И от этого легкая краска покрыла его щеки.

Смущенный, он быстро ушел в свой кабинет. Снял фуражку с кокардой инженера, бросил пальто на диван и невольно взглянул в окно на улицу.

Агент охранки был на своем месте.

„Чорт возьми! Этот дьявол, видимо, не оставит меня в покое!"—и Мешади-бек с тревогой подумал о патронах и бомбах, спрятанных в его квартире.

„Уж не учуял ли чего? Не иначе!"

Мешади-бек вызвал свою мать.

—Меня не спрашивали?—шопотом спросил он ее.

Селимназ быстро сунула руку за ворот платья и, достав сложенный листок бумаги, передала сыну.

Мешади-бек быстро пробежал глазами коротенькую—в три строчки—записку:

„Дедушка! Припрячь яички. Сегодня вечером придут покупатели взять по дешевке. Коба."

— Что, сынок?—спросила Селимназ, заметив волнение сына.—От кого письмо? Уж не случилась ли беда?

Мешади-бек, не отвечая, быстро отошел от нее.

— Что с тобой, сынок?

— Скажи гостям, чтобы сейчас же ушли отсюда.

От удивления у старухи расширились глаза.

— Что ты, сынок? Как можно? Как я скажу гостям,— убирайтесь вон!

— А ты хочешь, чтобы меня арестовали?

— Не дай бог, сын. Что ты говоришь?

Сказав это, старушка быстро вышла в другую комнату.

Не желая расстраивать торжество, она никому не сказала горького слова. Молча достала из сундука скопленные на случай гривенники и копейки и, раздав ребятишкам, послала их за сладостями.

Затем она позвала всех женщин в свою спальню и, заперев за ними дверь, поспешила к сыну:

— Ну, теперь делай, что хочешь!

Мешади-бек перетащил все ящики в спальню роженицы и, расцеловав Пюстэ-ханум, сложил ящики под ее кроватью.

— Мать!—сказал он Селимназ.—Не спускай глаз с этого места. Завесь низ кровати, чтобы ящиков не было видно. Поняла?

—Поняла, родной, поняла!

II

Вечером в дом ввалилась целая ватага полицейских.

Гости взволновались, боясь, что Мешади-бека арестуют.

За несколько минут полицейские обшарили все комнаты. Двое из них стояли у входа, никого не пропуская ни в квартиру, ни из квартиры.

Выслеживавший Мешади-бека агент охранки толкнул ногой дверь спальни, где лежала роженица, и крикнул:

— Сюда, сюда! Вот где то, что мы ищем!

Он первый вбежал в комнату.

Мешади-бек, заложив руки в карманы, стоял у двери и с полным хладнокровием наблюдал за действиями полицейских.

Агент охранки остановился у протянутого во всю ширину комнаты занавеса, за которым лежала роженица.

Лицо агента исказилось страхом. Расширенные глаза впились в перевязанное тонкой ниточкой и спущенное по занавесу гусиное яйцо.

Яйцо приковало к себе внимание и остальных полицейских, ворвавшихся за агентом в комнату. А между тем это было самое обыкновенное яйцо, которое, по обычаю предков, вешали на занавес, разделяющий комнату роженицы на две половины. Это яйцо, по поверью, призвано спасти ребенка от гибели и мать от бесплодия.

—Бомба! Бомба!—вскрикнул агент.

Мешади-бек пробрался сквозь толпу полицейских.

— Где бомба?—спросил он с удивлением, смешанным с тревогой.

— Вот она! Мы много перевидали таких бомб. Да, да! Вы нас не проведете!

Мешади-бек рассмеялся и снял яйцо с ниточки.

Полицейские вздрогнули и отпрянули назад, словно наступив на змею.

— Не бойтесь, господа!—заговорил Мешади-бек, спокойно поглаживая яйцо ладонью.—Это старинный обычай нашего народа.

—Вы нас не обманете,—заикаясь, пробормотал агент охранки.—Держите его, не то он взорвет нас своей бомбой...

Мешади-бек бросил яйцо наземь. Желток разлился по полу.

Мать, стоявшая в стороне со сложенными на груди руками, опустила глаза. Только один едва слышный вздох вырвался из ее груди.

Мешади-бек, взглянув в налившиеся слезами глаза матери, проговорил:

— Прости меня, мать! Так надо.

Затем он приподнял занавеску и показал полицейским роженицу, лежавшую в постели, и младенца в люльке.

В этот момент, словно подтверждая слова отца, раздался сильный и здоровый крик ребенка.

— Идем!—проговорил пристав.—Неудобно. Что мы делаем?

Повернув смущенное лицо к агенту, он оглядел его полным презрения взором:

— Недурно быть повнимательнее... Это у вас в привычке видеть в каждом яйце бомбу, отыскивать в каждом пирожке патроны. Пошли!

III

Мешади-бек не успокоился. Он должен сегодня же отослать опасный груз в указанное Кобой место.

Вскоре после ухода полицейских знакомый агент, переодевшись, вновь появился у дома Мешади-бека. Очевидно, ему все еще мерещился запах бомб и патронов. Прогуливаясь по улице, он бросал порой беглые взгляды на окна квартиры Мешади-бека.

Пожелай прохожие сосчитать окурки папирос, выкуренных им за день, они несомненно потеряли бы счет.

Мешади-бек вышел на двор и позвал своего старого знакомого, дядю Гулама.

—Дядя Гулам,—сказал он,—мне нужен осел и две большие корзины.

Старик вытаращил глаза:

—Осел? Ты ведь инженер, на что тебе осел? Или я не расслышал?

—Да, да! Длинноухий.

—А на что тебе?

—Значит, нужно, если прошу. Вот, возьми деньги. Даю тебе час. Идет?

Гулам перевел глаза с Мешади-бека на бумажки, зажатые в руке, и, сдвинув густые брови, крепко задумался.

—А нельзя узнать, для чего это?

—Нет, нельзя. Ну, согласен или нет?

Дядя Гулам был добрый старик; он очень любил Мешади-бека, но сейчас, выслушав его странное предложение, стал сомневаться.

„Тут что-то неладное!“—думал он.

—Скоро вернешься, дядя Гулам?

—Скоро... Только, говоря по правде, тут мне не все ясно.

Мешади-бек улыбнулся.

—Будет ясно. Только не сейчас. Спустя несколько лет.

—А вдруг до того я не доживу?..

—Не бойся, аллах милостив.

Старик ушел, а Мешади-бек задумчиво вернулся к себе. Из соседней комнаты иногда доносился голос младенца, и Мешади-бек довольно поглаживал жесткую бороду и весело улыбался.

Радость отца рассеивала горечь жизни.

IV

Приведенный дядей Гуламом серый осел обошелся очень дорого, но Мешади-бек ни на минуту не задумался об этом.

—Итак, дядя Гулам, с этого дня ты будешь чарчи.

—Что ты, милый?

—Так надо...

—Ведь я дворник, откуда мне знать торговлю. За два дня я спущу по ветру весь капитал.

—Если будешь слушать меня, не останешься в убытке.

Мешади-беку, обычно не разговорчивому, пришлось целый час уговаривать и убеждать дядю Гулама.

В конце концов тот согласился на предложение Мешади-бека, но с одним непременным условием:

—Открой мне секрет!

Мешади-бек хорошо знал дядю Гулама. Он знал, что никакие пытки не заставят его выдать друга. Но хранить тайну старик не умел. Поэтому, поручая ему какое-либо дело, Мешади-бек никогда не посвящал его в подробности.

—Соглашайся, дядя Гулам. Когда-нибудь я делал тебе зло?

—Нет! Если и ты станешь делать мне зло, я совсем погибну...

—Если так, не задерживайся. Принимайся за торговлю.

—Клянусь аллахом, или я с ума спятил, или ты...

—Ни ты, ни я!—прервал его, улыбаясь, Мешади-бек.—Не стой же. Корзины в комнате. Вынеси и нагрузи их на серого осла. Если спросят о цене яиц, скажешь: копейка—пара. Прямо погонишь осла в Биби-Эйбат. Подождешь там немного, а дальше—тебя не касается.

—Ага!—вскрикнул дядя Гулам.—Понял! Значит, ты посылаешь пожертвование мечети, в честь новорожденного. Чего же ты стесняешься, милый? Так бы и сказал. Зачем же заставляешь старика голову ломать над загадкой. А то я думаю: что за торговля, какие там барыши?

Дядя Гулам стал нагружать корзины на осла.

☆

Агент охранки, почувствовав недоброе в накрытых мешком корзинах, пошел на большом расстоянии за дядей Гуламом. Гулам погонял осла по указанным Мешади-беком улицам. Никто из прохожих не интересовался ни ослом, ни навьюченными на него корзинами. Каждый был занят своими заботами.

Сильный норд гудел в ушах, окутывая город густой пылью.

Дядя Гулам не оглядывался по сторонам; он беспрестанно понукал осла, спеша поскорее добраться до места.

Было жарко. Летнее солнце нещадно палило землю.

Выйдя за город, дядя Гулам остановил осла. Вытер папахой пот со лба. Глубоко вздохнул. Потом невольно оглянулся назад и, увидев человека, подумал:

„Где-то я его видел?.. Ага! Вспомнил, вспомнил! Это агент охранки, производивший обыск у Мешади-бека. Но зачем он идет по моим следам?..“

Старика объяла тревога.

„Неужели заподозрил меня?.. К чорту!.. В корзине яйца. Самое большее—он разобьет одно яйцо... Пусть... Подумаю, что собака унесла... А вдруг за Мешади-бека будут мстить мне?..“

Дядя Гулам призвал на помощь смелость и погнал осла дальше.

Агент поспешил за ним. Наконец, он догнал дядю Гулама и, взяв осла за уздечку, крикнул:

— Стой!..

— Слушаюсь!..

— Что везешь?..

— Что везу? Изволь, погляди!

Агент поглядывал то на дядю Гулама, то на корзины.

— Ты знаешь Мешади-бека?

— Знаю.

— А знаешь, какой он опасный человек?

— Это почему же опасный? На всем свете не сыскать лучшего человека.

Ответ дяди Гулама вывел агента из себя.

— Значит, и ты его единомышленник? Так ли, сволочь?

— От сволочи слышу.

— Цыц!

— Слушаюсь!..

На этом разговор прекратился.

Агент охранки приподнял мешок, которым были накрыты корзины, и осторожно заглянул в них.

— Тьфу!.. Опять яйца!..

— Да, яйца! Пара за копейку.

Осел, помахивая хвостом, двинулся дальше.

— Господин!—сказал дядя Гулам.—Мешади-бек хороший человек. Зачем вы обыскиваете его дом? И сейчас придираетесь к его пожертвованию... Таков обычай... Сын родился... Наверное, он обет такой дал.

Сказав это, дядя Гулам побежал догонять осла и скрылся за углом. Пройдя еще несколько шагов, он обернулся,—агента не было видно.

„И бывают же на свете дураки!“—подумал старик, покачав головой.

И он убыстрил шаги, чтобы поскорее довезти пожертвование своего друга до места, исполнить его просьбу...

V

Дядя Гулам добрался до часовни. Тут его окружили несколько человек. В один миг исчез и осел, и корзины с яйцами. Дядя Гулам стоял, опешив, словно охотник, потерявший оленя. Он озирался вокруг, ничего не понимая, не зная, как быть.

Тут показался Мешади-бек, приехавший на фаэтоне.

— Ну, как?—спросил он, смеясь—сколько выручил?

— Украли осла!.. Погубили меня!..—с сожалением пробормотал смущенный дядя Гулам.

Шепнув что-то извозчику, Мешади-бек отошел от дяди Гулама и направился навстречу приближавшемуся к нему молодому человеку в клетчатом шарфе с черной кудрявой бородкой и сверкающими улыбкой глазами.

— Здорово, дедушка!—сказал молодой человек, крепко пожимая руку Мешади-беку.—У тебя сын родился? Поздравляю!

— Коба, яйца прибыли?—нетерпеливо спросил Мешади-бек, не отвечая на поздравление.

Коба положил руку на плечо Мешади-бека.

— Да,—проговорил он.—Мне ребята сейчас рассказали. У тебя, дедушка, богатая фантазия... А это прекрасный признак. Революция любит и мечты, и фантазию...

Стоявший рядом дядя Гулам, ничего не понимая, смотрел то на Мешади-бека, то на Кобу и хлопал глазами.





Р. Нигяр

ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ

Сказала розе:—Ты ясна,
Как солнца первый луч, красна.—
Она в ответ мне:—Красным утром
Открыла очи мне весна.—

Спросила горный я поток:
— Кто мчаться так тебе помог?—
А он в ответ:—Порой весенней
Счастливых мне не счесть дорог.—

И я сказала:—Соловей,
Ты песней радуешь своей.—
А он в ответ:—Весна прогнала
Тоску осеннюю полей.—

И я сказала:—Облака,
Походка ваша так легка!—
Они в ответ:—И нас коснулась
Весны волшебная рука.

И я сказала:—О, пастух,
Дудуком ты ласкаешь слух.—
А он в ответ:—Молчать возможно ль,
Когда не молкнет сердца стук.—

— Какая радость в вас, глаза?
От вас яснеет бирюза.—
Они в ответ:—Весны дождались,
Пришла веселья полоса.—

— Зачем, поведай, ветер, мне,
Нарядны горы в вышине?—
А он в ответ:—Народы наши
Весть получили о весне.

— Тогда скажи мне ты, весна!..—
И назвала тебя она:
— Нас вдохновляет Сталин-солнце,
Нам эта радость всем дана.

Все сразу радость обрело,
Весна раскинула крыло,
И все сказали:—Наше солнце
Над нашей родиной взошло.





Сергей Иванов

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

В рабочей каморке—свечи стеариновой дрожь.
Дымится шашлык. Распыляется уголь в золу.
Сегодня Батуми пирует, куда ни пойдешь,
Хмельной полицейский спокойно храпит на углу.

Грубы табуреты и пол глинобитный покат,
Не стонут дудуки, и праздничный стол небогат,
Но правосидящий для левосидящего—брат,
Товарищи, грудью прошедшие бурю и град,
Отборные люди, не люди,—а клад.

Оглянешь товарищей—станет светло и легко:
Кавказские горы надежных родят сыновей.
Манташевский слесарь печально з пел „Сулико",
Друзья подхватили—защелкал в садах соловей.

Растаяла песня—уснул в цветнике ветерок...
Встает тамада, поднимая наполненный рог:
— На свете немало путей и дорог,
Но наша святая дорога—одна,
За наше содружество—нашей победы залог—
Давайте, товарищи, выпьем до дна.—
Поднялся старик, оправляя седые усы:
— Спасибо тебе, ты народу заступник и сын.
Ты словом и делом батумских рабочих сплотил,
За наше добро ты стократно добром отплатил.
Клянусь, мы тебя не дадим ни в какую беду,
Клянусь, за тобой и в огонь, и на плаху пойду!
За Кобу, товарищи, за тамаду!—

А Коба, взметнув беспокойные крылья ресниц,
Откинул бешмет и товарищей взором обвел:
— На свете немало свободных птиц,
Но всех сильней и вольней—орел.
Рожденный в суровых российских снегах,
Он двинет народ, изуверов разя.
И троны тиранов развеются в прах,
И гордый народ запирует, друзья.
Он вечной любовью к народу горит,
Он разум в сраженьях и пытках обрел,
Он выше Казбека мечтами парит,
Владимир Ленин—такой орел.—

И встали подпольщики, рыцари бурь и тревог,
Друзья, у которых дорога навеки одна,
И выпили, стукнув рог о рог,
За Ленина, за орла—до дна.
Поднялся старик и обнял у друзей на виду
Грядущих боев и народных пиров тамаду.

А Коба, прищурясь, повел новогоднюю речь,
Как надо свободу в цехах и портах толковать,
Как юных бойцов обучать, закалять и беречь,
Как меч революции в горне подполья ковать.
И речь тамады, как могучая песня, звала.
Товарищи слушали. Стыла в мангале зола.
Окно посветлело. Прохлада взошла на порог.
И Коба поднялся, наполнив изогнутый рог,
И глянул в окно на еще неизведанный год,
На Черное море, на дымчатый белый Кавказ:
— Друзья, рассветает! Скоро восход!
Это солнце будет сиять для нас.





Мир-Джалал

ТАМАША

Стоя у порога, Хатам-даи смотрел вниз—на вспаханные поля, на виноградники, цветники, покрывающие долины, кущи садов, на греющиеся в лучах осеннего солнца холмы и вьющиеся меж ними тропинки.

Хатам-даи не мог отвести радостных глаз.

Казалось, прелесть и очарование родной земли, где каждый вершок, каждая пядь были ему знакомы и близки, пленили Хатама. Он стоял напряженный,—сын и отец этой земли,—словно ожидая ее зова, зова этих молчащих садов и цветников. Здесь прошла его сорокалетняя жизнь, он любил эту землю, не мог жить без нее.

Налитые колосья клонились к земле. Вот полные скирд гумна, вот идет молотьба на току, а вот и горы янтарной пшеницы.

Хатам-даи посмотрел под навес, где, тесно прижатые друг к другу, стояли набитые доверху чувалы. Он торопливо поднес к глазам свою сильную руку. Взглянул на широкую ладонь, короткие прямые пальцы, вздутые жилы. Потом задумчиво подошел к чувалам, взял горсть пшеницы и долго перебирал желтые, как янтарь, зерна.

I

— Нет, этот человек должен бы приехать, должен все увидеть.

Сказав это, Хатам-даи, торопясь высказать все, что лежало у него на сердце, и узнать мнение председателя колхоза, направился к дому Кудрата. Кудрат знал, что Хатам-даи не придет даром.

— Какими судьбами, Хатам-даи?

— Мне пришла в голову одна мысль,—поднимаясь по лесенке, тихо сказал он.

Кудрат принес из комнаты стул, но Хатам, не садясь, прислонился к перилам балкона.

— Не беспокойся, я на минутку. Дело вот в чем, Кудрат: мы устроили праздник урожая, поделили доходы и всего получили вдоволь, но только осталась одна вещь...

— Какая же?

— Еще отцами сказано: достойный сын не должен быть неблагодарным!

Кудрат не понимал, куда клонит Хатам-даи.

— Конечно, человек должен помнить добро!

— А, кажется, мы забыли?

— Мы? То-есть, кто?

— То есть, вот, первый—ты сам, Кудрат Мелик-оглы. Второй—я, Хатам Габил-оглы. Ты—колхоз, я—колхозник! Весь колхоз „Бенефша"...

Кудрат ничего не понимал.

— О чьем же добре мы забыли?

— Сколько зерна выделили мы на душу?—спросил Хатам.

— По полтора чувала.

— А денег?

— И денег из того же расчета.

— У всех в амбарах винограду, яблок, айвы на всю зиму... А потом—наши школы, клубы...

— Верно, верно!—не вытерпел Кудрат.—Что толку повторять то, что всем известно. Говори прямо, куда гнешь?

— А почему мы недавно были голодны?—не меняя тона, продолжал Хатам.

— „Недавно",— то есть, в прошлом?

— Да, да. Почему в прошлом мы оставались с пустыми руками?

— Понятно, почему!—вспыхнул Кудрат.—Не буду же я тут заниматься с тобой политграмотой.

— А мне твои занятия и прочее не нужны!—переменил тон Хатам.—Ты вникни в суть моих слов, ведь есть же виновник нашего благополучия!

— Понятно, есть! Спасибо нашему отцу и вождю...

— Он должен был бы присутствовать на нашем празднике,—прервал Кудрата Хатам, показав указательным пальцем на север, и, сдвинув брови, повысил голос.—Мы должны были пригласить его. Что ты на это скажешь?

Слова Хатама показались Кудрату необычайными.

Кто бы не пожелал, чтоб величайший человек мира прибыл к нему в гости! Кто не пожелал бы устроить пир в честь избавителя народа! В такой день древний Кавказ, широко раскрыв объятия, станет ждать появления солнца. Каспий на своих улыбающихся устах принесет привет тысячелетий. Джейран-дюзю развернет свою многоцветную скатерть. Плодовые деревья склонят отягощенные ветви. Цветы потянутся к солнцу. Родники и источники заклокочут шербетом. Проснувшийся народ выйдет навстречу своему солнцу.

Великий вождь увидит цветущий Азербайджан, его счастливый народ, его кипучую творческую жизнь.

И он, как садовод, наслаждающийся плодами своих трудов, улыбнется и скажет:

— Чудесно, чудесно!

Но где у вождя время ездить по гостям! Каждое его дыхание дает жизнь миллионам. Когда мы здесь пели и танцовали в день праздника урожая, кто знает, о свободе и счастье какого народа думал он в эти минуты?!

Так думал Кудрат.

— Мы, конечно, должны выразить благодарность давшему нам счастье и благополучие,—сказал он, но не мог решить, как, в какой форме надо это сделать.—Если хочешь знать правду, Хатам-даи, я не могу дать тебе решительного ответа. Надо немножечко подумать, посоветоваться.

С этим и ушел гость от Кудрата.

II.

Возвращаясь от Кудрата, Хатам сказал себе:

„Ты себе думай, а я сделаю то, что надумал. Пока умный раздумывает да собирается, дурень переходит реку вброд“.

На утро, едва забрезжил рассвет, он кинулся к плотнику Кафару и заказал ему ящик на сто лимонов.

На обратном пути он встретил сына соседа—Мусеиба и попросил его написать письмо.

Мысль Хатама пришлась по душе и его жене. Они решили послать вождю маленький подарок из взращенных

за последние годы плодов. Но так как подарок предназначался слишком дорогому человеку, они хотели сделать его возможно лучше.

Хатам решил сам отобрать лимоны и снять их так, чтобы на каждом сохранились листочки. Для упаковки он пригласил садовника Аллахяра. Он найдет тонкую хрустящую бумагу, а на ящике сделает красивую надпись на двух языках. Хатам-киши весь ушел в свою затею.

Все это происходило на глазах любимицы семьи, девятилетней Тамаши.

Тамаша не была жадным ребенком. Ее не занимали ни лимоны, ни подарки. Но когда она услышала имя Сталина, когда узнала, что отец намеревается написать ему письмо, ее охватило сильное волнение. Девочка забыла обо всем.

— Отец, дай и я напишу письмо вождю!

— Доченька, да ты двух слов связать не умеешь,—улыбнулся отец.—Что ты сможешь написать вождю. Ты еще ребенок, сиди себе на месте.

Тамаша промолчала и отошла в сторону.

Детская душа—неведомый мир. Трудно отыскать в него путь, разобраться в нем.

Тамаша верила отцу и слушалась его беспрекословно, но в душе глубоко сокрушалась, что она еще ребенок. За что она ни возьмется, все в один голос говорят:—„ты еще ребенок.“ Когда же, наконец, она вырастет! Когда ей разрешат написать письмо вждю! Тамаше казалось, что она сумеет написать письмо. Напишет дедушке Сталину о том, что у нее на душе.

„Но разве взрослые дадут написать? Называют ребенком... Что из того, что я ребенок?! Учусь же я в школе! Умею же я писать!..“

Мысли эти долго мучили Тамашу, долго не давали ей уснуть. На следующий день учитель Ильяс принес в класс небольшую красную книжку.

— Ребята!—сказал он.—Мы прочтем письмо пионеров Ворошилову.

И учитель прочел чудесные стихи. Пионер Мурад писал Ворошилову, что его брат ушел в армию.

„Товарищ Комиссар, запиши и меня. Запомни, когда я подрасту, я тоже приду в армию“.

Выслушав это стихотворение, Тамаша не могла усидеть на месте. Облокотясь о скамейку, она подняла палец.

— Учитель!..

Учитель был занят. Он то заглядывал в книгу, то, подойдя к доске, писал что-то и объяснял написанное.

— Учитель, товарищ Ильяс!

— Что, Тамаша?—ответил он, наконец.

Тамаша быстро встала с места, откинула крышку парты и отрывисто начала:

— Учитель, Мурад написал... товарищу Ворошилову... А разве ребенок может писать вождю?

— Может... О серьезных необходимых делах может написать,—пояснил учитель.

Тамаша села. Села, но никак не могла успокоиться.

С нетерпением ждала она звонка. Как только кончатся занятия, она побежит к отцу и все расскажет ему.

Чтоб уверить отца, Тамаша решила показать ему книжку „Письмо пионера".

Довольная своей находчивостью и тем, что все так хорошо устраивается, девочка по окончании уроков схватила сумку и бросилась бежать домой. В дороге она не переставала думать о словах учителя: ребята могут писать вождю только о важных делах.

„А кто знает, что важно? Брат Мурада пошел в армию. Это важно. Но у меня же нет брата! Как же быть с этим? А что у меня важного?.."

На цветущее, кругленькое лицо Тамаши набежало облако заботы и печали.

„У меня нет никаких важных вопросов Я сделала авиамодель. А что, если я пошлю ее вождю? Интересно, это важно или нет?.."

Тамаша показала родителям принесенную книжку, но ничего не сказала отцу ни о своей „новости", ни о своих сомнениях. Она спросила о другом:

— Отец, что значит „необходимый"?

Хатам-киши был занят распарыванием мешка.

— Эта девочка задает такие несуразные вопросы, что не знаешь, как и ответить!—строго оглядев дочь, сказал он.—Необходимое—есть необходимое. Необходимое, значит непреложное.

— Что ты, деточка, что тут непонятного?—вмешалась мать, заметив растерянность девочки.—Вот, говорили раньше, что необходимы посты и молитвы, а теперь, к примеру, говорят—труд необходим, школа, ученье необходимы. А есть и не необходимое.

Но из этих объяснений Тамаша ничего не поняла.

„Ничего,—подумала она,—спрошу у учителя".

— Учитель, что значит необходимо?

Когда Тамаша задала этот вопрос, учитель писал что-то на доске.

— Дитя мое,—продолжая писать, ответил он,—нет ничего важнее и необходимее того, чтобы быть внимательной на уроках. Не шуми!

Сегодня Тамаше явно не везло. Она решила, что учитель не в духе, и замолчала. На перемене она подбежала к пионер-вожатому:

— Товарищ вожатый, я сделала модель самолета, это важно, необходимо или нет?

Вожатый видел модель Тамаши на выставке, устроенной второклассниками.

„Ей, вероятно, хочется, чтобы заметили, оценили ее работу“, - подумал вожатый и ответил:

— Конечно, это важно и необходимо. Твоя работа замечательна. Еще многие люди будут любоваться ею.

Довольная собой, вернулась Тамаша из школы. Едва войдя в комнату, она обратилась к отцу:

— Отец, говорят, что можно написать. Позволь, я напишу письмо вождю!

Хатам хотел повлиять на дочь лаской.

— Доченька, учитель говорит так, чтобы не обидеть тебя. Ты же маленькая. Ты ведь сама пока с локоток, ну как ты напишешь?..

— Но я хочу послать свою модель.

— Ну, на что вождю твоя модель? В день ему представляют сотни стальных самолетов.

— Я хочу, чтобы вождь знал меня!

Отец погладил голову дочери, похвалил.

— Будем живы, вырастешь, станешь летчицей, инженером или еще кем, и тогда, как подобает, поедешь к вождю.

— А ты поедешь со мной?

— На что же я тебе, детка?

— Да ведь вождь не узнает меня!

— Тогда тебя узнают не по мне. Тогда тебя не будут называть дочерью Хатама, наоборот, меня будут звать отцом Тамаши, поняла?

Какие доводы ни приводила Тамаша, не добилась своего. Отец не соглашался.

Приготовленный для отправки в подарок вождю ящик лимонов стоял на подоконнике. Он еще не был запакован. При взгляде на него, Тамаша чувствовала усиленное биение сердца, хотелось забиться в уголок ящика и поехать в Москву, к дедушке Сталину.

„Даже письмо отец не позволяет написать. Ну что из того, что я ребенок? Ребенок! А почему же Мурад написал?"

Мысль эта ни на мгновение не покидала Тамаши.

Вечером Хатам-киши отправился к соседям.

Видя, что мать занята хозяйством, Тамаша разложила на столе учебники и тетради. Делая вид, что готовит уроки, она принялась за письмо. Ей казалось, что стоит сесть, как письмо будет готово. Но оказалось, что писать письмо к вождю дело не легкое. Сколько мыслей приходит в голову, а записать их на бумаге трудно.

Сердце ее сильно билось от радости. Слова с трудом выходили из-под пера. Она знала, что слова эти обращены к вождю, отцу всех школьников, отцу трудящихся всего мира. Она делала такое дело, что любой школьник, знай он об этом, позавидовал бы ей. Порой, отрываясь от письма, она поднимала голову и устремляла взгляд своих больших темных глаз в окно. Она думала, что, если бы ребята узнали, они прибежали и начали бы просить ее: „Напиши и от моего имени. Напиши и от моего!.." Тамаша радовалась каждой выведенной строке и все писала, писала.

„Наш дорогой вождь Сталин! Шлю Вам много-много приветов. Товарищ Сталин, ты наш дедушка. Я очень люблю тебя. Я никогда не забываю тебя. Я во втором классе. Я отличница. Я сделала модель самолета. Дала ее на выставку. Я хочу, когда вырасту, стать летчицей. Я полечу в Москву. Товарищ Сталин, тогда я увижу тебя. Дорогой дедушка Сталин, мое имя Тамаша. Мои родители работают в колхозе."

Когда Тамаша закончила письмо и вложила его в конверт, отец еще не возвращался. Тамаша запечатала конверт и спрятала письмо на груди

— Чего ты не ложишься?—рассердилась мать.—Ведь завтра в школу!

— Я готовила уроки.

Тамаша подошла к окну. Осторожно сняла лежащие сверху лимоны. Положила письмо, прикрыла его белой бумагой, а сверху снова уложила лимоны. Взволнованная и радостная, она юркнула в кроватку. Сон не смыкал глаз де-

вочки. Тревога не оставляла ее, пока ящик оставался открытым на подоконнике. Стоило в доме раздаться чьим-нибудь шагам, как ей казалось, что кто-то подходит к ящику.

„Ах!.. Сейчас мать заметит письмо и вытащит его!"—тревожно замирало сердце Тамаши, когда мать подходила к окну.

И только, когда машина МТС, с которой отправил свой ящик Хатам-киши, скрылась в клубах дорожной пыли, девочка успокоилась.

III.

Прошло две недели. Колхозники колхоза „Бенефша", собравшись, написали коллективное письмо товарищу Сталину. Хатам-киши был одним из его вдохновителей. А Тамаша все еще сильно беспокоилась за исход своей затеи.

— Сколько дней идет письмо в Москву?—не раз спрашивала она отца.

То ей снилось, как вождь читает ее письмо. То ее охватывал страх, что отец узнает обо всем и начнет бранить ее. То ей хотелось открыть матери свою тайну.

„А не расскажет ли мать отцу?"—думала она.

Утром почтальон доставил в дом Хатама большой ящик с несколькими сургучными печатями. Хатама не было дома. Жена осмотрела ящик, но ничего не могла понять.

— Да ведь это же тот самый ящик, в котором мы отправили лимоны! —вдруг вспомнила она и растерянно развела руками.

— А ну-ка, доченька, живее беги за отцом. Скажи, что лимоны вернулись обратно!

И Тамаша ничего не могла понять. Она побежала за отцом.

Услыхав новость, Хатам-киши похолодел.

— Как это—„прислали обратно?"—Кто это тебе сказал, девочка?

— Мать! Сказала, пусть идет скорее!

— Брось, девочка,—волновался Хатам.—Говори правду. Зачем я нужен матери?

— Правда, папа, правда, вон и ящик на балконе,—принялась уверять Тамаша.

Хатам не мог успокоиться. Взволнованный, он так резко сунул кулаки в карманы, что те едва не треснули по швам.

Хатам шагал хмурый и озабоченный, не различая дороги.

Остановившись на полпути, он строго взглянул на дочь.

— Смотри, дочка! Берегись, если обманула меня!

Если бы Тамаша знала, что весть эта так подействует на отца, она ни за что не сказала бы ему. Глядя на отца, Тамаша и сама расстроилась. Но вдруг она подумала о своем письме, которое обнаружит отец, когда вскроет ящик.

„Что я скажу тогда? Кто знает, а может там увидали мое письмо, и сказали: откуда у девочки столько лимонов?.. А может потому, что я не написала адреса?“

Сердце девочки мучительно сжималось. Она все думала о том, как отец подойдет к ней с письмом в руке и крикнет:

— Что ты натворила?!

Опустив голову, Хатам зашагал быстрее.

— Иди, иди, муженек, принимай свои лимоны!—окликнула его с балкона жена.

Хатам не проронил ни слова. Тяжело ступая, он поднялся по лестнице.

— Это, что ли?—спросил он, увидав ящик.

— Да, это!

Хатам вынул ножичек и хотел вскрыть ящик, но, подумав, остановился.

— Послушай,—сказал он жене,—а вдруг потом окажется, что это не нам?..

Как бы вспомнив о чем-то, жена прошла в следующую комнату. Взяв со шкафа почтовое извещение, она принесла его.

— Нам, я дала прочесть соседям. Вот оно!..

Хатам послал за сыном Мусеиба. Заставил еще раз прочесть сделанную на русском языке надпись.

Ящик вскрыли. Там оказался патефон, папка с пластинками, коробка с тетрадями и книгами и письмо. Хатам-киши замер от изумления.

„Кто это прислал, кому?“

Но когда он распечатал письмо и взглянул в него, лицо его прояснилось. На губах мелькнула улыбка, брови разгладились. Тревога моментально исчезла.

— Послушай, сынок, ты хорошо читаешь. На, читай,—выпалил он.

Сын Мусеиба пробежал первые строки и окликнул Тамашу.

— Поди-ка сюда, Тамаша, посмотри, что прислал тебе вождь!

„Здравствуй, Тамаша! Письмо твое получил. Спасибо. У меня к тебе три наказа. Первый—учеба, второй—учеба и третий—учеба. Посылаю тебе маленький подарок. Читай эти книги. А когда устанешь, заводи патефон. Будь здорова!“

От радости и смущения Тамаша стояла вся красная и не сводила глаз с патефона и книг.

— Поздравляю, счастливица, из Кремля тебе подарки шлют,—сказала мать.

Хатам не мог притти в себя от изумления.

— Послушай, разве мы писали что-нибудь о девочке?— обратился он к жене.

Та не могла припомнить.

Хатам не переставал удивляться: как узнали в Москве имя Тамаши?

— Да ведь ты же писал письмо?—спрашивал он сына Мусеиба.

— Я имени Тамаши не упоминал. Там о ней не было ни слова.

— Откуда же знают ее в Кремле?

— Я сама написала,—сказала Тамаша.

Хатам-киши широко раскрыл глаза.

— Что?—вскрикнул он.—Что ты говоришь?!—и с этими словами он прижал к груди свою дочурку.

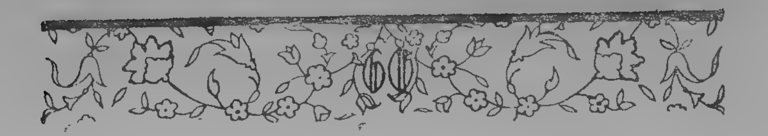
Через некоторое время раздался торжествующий голосок Тамаши:

— А ты говорил, что—я ребенок!

Теперь Тамаша больше не задает вопросов, она только просит учителя.

— Учитель, спрашивайте меня побольше! Ведь вождь прислал мне книги, ведь он наказал мне учиться. Учите меня, учите побольше, побольше...





Ашот Граши

ПОХОРОНЫ ХАНЛАРА

Простерся день осенний над Баку,
Нависли грузно тени над Баку.
Из глаз свинцовых слезы пролились,
Как будто похороны собрались.
Поникнув—как за гробом—головой,
Просторами небес идут толпой.

...А на земле—походкой облаков,
Со скорбной песнью, мимо корпусов
Несет Ханлара тяжкий гроб народ,
Он, словно лодка, над землей плывет.

Что это—похороны? Иль идут
Шеренги демонстрантов? Или бьют
Валы, и море дышет серой мглой,
И буря нависает над землей?

Идет народ. Слеза бежит с лица,
Но ярость переполнила сердца.

Идет народ, с печалью на челе,
Чтоб сына верного предать земле.
Идет народ. Густеют облака.
Убила сына черная рука.

Идет народ. И Сталин впереди.
Печаль и горе затаив в груди,
Несет Ханлара на своем плече.

Он с ним сражался против палачей,
Его заботой был согрет Ханлар,
Народа мощный воплотивший дар.
Ханлар, что на Каспийских берегах
Парил, сражался, как орел в горах.
За правду, за свободу пал в бою,
Азербайджан, за будущность твою.

Идет народ. И Сталин впереди.
Слеза упала, скрывшись на груди.
Он что-то прошептал, нагнувшись вдруг,
Рабочему, и тот, раздвинув круг,
Исчез в тумане. Только миг один
Безмолвие стояло. Из-за спин
Кладбище показалось. И тогда
Над городом мазута и труда
Гудки завыли. И сквозь грозный гул
Народ тоскливо песню затянул.

И песня эта горе занесла
На фабрики, заводы, промысла.
И с этой песней движется народ,
И ненависть народная растет.
Поет народ. И гневный вождь поет.
Заря свободы над Баку встает.
Нет, нас не сломит черная рука,
Ни тюрьмы, ни сибирская пурга,
Жандармам наших не убить сердец.
. . . .
Спи, наш Ханлар, товарищ и боец.



М. Энвер

КЛЯТВА

Опять эта старушка с узелком подмышкой! Она устало брела по берегу моря, возвращаясь из Баиловской тюрьмы. Она была так измучена, что соскользнувшая с головы темная чадра, казалось, давила ее плечи.

Когда, свернув с набережной, она подходила к крепостным воротам, в домах уже зажигались огни. Она прислонилась к стене передохнуть и остановила утомленный взгляд на заливе, подернутом вечерним туманом.

На город спускались серые сырые сумерки. В заливе полусонные волны изредка вспыхивали тусклым стальным блеском. Все вокруг выглядело покинутым и запустелым. Казалось, по всему миру, осиротелому и одинокому, простиралась какая-то печаль потери.

И Taват-нэнэ вдруг подумала, что скоро и она, как придорожный камень, как скала в открытом море или дерево, растущее в поле, будет одна в этом огромном мире.

Она вздрогнула, точно порыв холодного ветра проник до самого ее сердца, и быстро отошла от стены.

Taват-нэнэ вошла в ворота и побрела по бесконечному лабиринту узких крепостных улиц и переулков. С низких минаретов тысячелетних крепостных мечетей, полуосевших под тяжестью прошедших над ними веков, неслись звуки азана.

Проходя мимо маленькой убогой мечети своего квартала, Taват-нэнэ, словно испугавшись собственных мыслей, прильнула к стене мечети. Ее дрожащие губы зашептали привычные, но непонятные слова затверженной молитвы. Они не могли успокоить ее. Тогда, прижавшись лицом к

каменным плитам, она начала взывать к аллаху словами родного ей языка, подсказанными ее горем, и прильнула сухими губами к холодному камню. В эту минуту она почувствовала, как чья-то рука легла ей на плечо, но она не испугалась этого неожиданного прикосновения, неизъяснимым материнским инстинктом угадав родное тепло этой тяжелой руки.

— Зачем ты опять целуешь эти камни?

Тават-нэнэ обернулась и взглянула на сына.

— Огни давно уж зажжены, сынок, почему же ты так поздно?

— Хозяин прибавил еще час работы... Пойдем, мать, оставь эти мрачные стены.

Заметив подмышкой у матери узелок, Джалал спросил сдавленным шопотом:

— Опять не приняли?..

— Опять, сынок,—опустив глаза, словно стыдясь своих слов, ответила Тават-нэнэ,—опять не приняли... Сегодня я пошла к самому начальнику тюрьмы. Но, сынок, как только я назвала имя Юсифа, этот проклятый, чтобы его поскорее смерть прибрала, подскочил, как ужаленный... „Пошла вон!" кричит и ногами топает.

В тусклом свете фонаря Джалал увидел полные страха глаза матери, ее бледное, изможденное лицо.

— Что ты так побледнела?—заботливо спросил он.—Или этот зверь так напугал тебя?

Джалал отвернулся и гневно закусил губу.

— Нет, сынок, я совсем не испугалась его, как он ни надрывал глотку. Я ему прямо в лицо: „Ай, начальник, что ты делаешь? И закона нет такого, чтобы передачи не брать..." Сказать правду, меня напугали те слова, что он добавил, отсохни его язык!

— Что же он сказал такое?

Тават-нэнэ оглянулась по сторонам и прошептала:

— Кажись, опять аресты пойдут, сынок. Как ты думаешь, что он сказал мне, дымя папиросой?—„Не кручинься, старая, потерпи, успеешь еще потаскаться сюда, когда твой сынок к нам в гости пожалует."—„Пусть к вам в гости Азраиль придет,—говорю,—не жалко вам что ли сына моего?" А рядом с ним сидел какой-то мусульманин. „Да, да,—прокаркал он,—и не только твой сынок, а и все, кто наслушался того, кому ты передачу носишь. Все будут здесь."

Джалал, смеясь, обнял мать.

— Не бойся, они просто запугать тебя хотели. Они не посмеют схватить всех, кто слушал Юсифа. Напрасно ты испугалась и отстала от него.

— Ты думаешь, отстала,—забыв о прохожих, почти крикнула Тават-нэнэ.—Не отстала, положила этот узелок прямо на стол к начальнику и говорю: „Ведь у этого арестанта в городе нет никого!“ Тут мусульманин, что сидел рядом с начальником, сунулся в разговор: „Ты, старая, не буянь. Господин начальник разрешает принимать передачу только от родных арестантов. А у вашего арестанта, слава богу, во всем городе ни души.“ А я ему: „Что ты говоришь, ты-то хорошо знаешь наши адаты. Ведь этот арестант был моим кунаком, и я за него жизни не пожалею“... Но, сынок, мне не дали досказать. Начальник в сердцах схватил со стола звонок, и тут двое городовых сцапали меня, я и глазом моргнуть не успела, как вытолкали на улицу.

Мать умолкла.

Над крепостью горели звезды. Где-то вблизи застонала гармонь. Бакалейщики запирали свои лавченки. Они вешали на вылинявшие двери своих узеньких, как гробы, лавочек, неуклюжие замки, похожие на черепаху. На перекрестках каждой улицы с папироской в зубах появился свой кочи. Покатила вереница экипажей с завернутыми в шелковые чадры ханумами.

— Идем, сынок! — тронула Тават-нэнэ задумавшегося Джалала за руку.—Идем домой. Ты, верно, изнемог с голоду.

Как бы пробудившись от сна, Джалал широко раскрыл глаза.

— Нет, мать, мне теперь домой некогда... Пойду, разыщу братьев Юсифа. Ты меня не жди. Ложись, спи. Рано утром встретимся у тюремных ворот. Поглядим, что на этот раз скажет начальник...

Тават-нэнэ удивленно взглянула на сына.

— Что ты говоришь? Где у него родные, чтобы искать их?

— Есть, мать... У него здесь много родных.

— Тогда чего же ты медлишь, сынок? Наверное они, бедные, и не догадываются ни о чем.

Джалал улыбнулся.

— Я хотел, мать, чтобы мы сами заботились о своем госте... Но раз не удалось, ничего не поделаешь.

— Послушай, Джалал,— запротестовала старушка.—В тюрьме ли Юсиф, или нет, он наш гость. Я не допущу, чтобы кто-нибудь, кроме меня, заботился о нем... Но пусть

его брат придет заткнуть рот этому бешеному псу, начальнику... Не то опять сунут мне мой узелок подмышку и вытолкают на улицу...

— Но смотри, матушка, захвати завтра этот хлебец, не забудь,—хлопая по торчащему из узелка хлебцу, сказал Джалал.

— Да что ты, сынок, он уже зачерствел... Утречком я спеку свежий.

— Ну что ж, пусть будет и свежий, но и этот захвати непременно...

И, замявшись, Джалал торопливо добавил:

— Знаешь ли, матушка, Юсиф не станет есть один. Он всегда делится с товарищами... Пусть у него будет побольше хлеба...

Расставшись с матерью, Джалал стал быстро удаляться. Старушка же, остановившись у мечети, смотрела вслед сыну до тех пор, пока тот не скрылся за поворотом.

И вдруг устремленные на дорогу глаза Тават-нэнэ сузились, мелкие морщины на лице шевельнулись. Она улыбнулась по-детски лукаво.

— Эх, сынок, сынок! Не говори: мать стара, ничего не понимает. Нет, все понимает... Думаешь, когда ты ночью писал письмо да прятал его в этом хлебе, твоя старуха спала?.. Да я сама притворилась, будто сплю, чтобы ты не ждал, пока я засну.

☆

Когда в предрассветном полумраке Тават-нэнэ с узелком подмышкой выходила из крепостных ворот на Набережную, все кругом еще было погружено в сон. Даже ночевавшие в Губернаторском саду воробьи еще не проснулись. Долго стояла Тават-нэнэ у ворот сада, ожидая первой арбы на Баилов.

Когда горизонт у Черного города едва заметно зарделся, в голубеющих при дуновении утреннего ветра волнах моря вспыхнул и погас розовый луч. Сверху, с нагорной части, оглушительно тарахтя, съезжали две арбы. Остановившись около сада, один из возниц забрал Тават-нэнэ.

Когда она сошла на Баилове с арбы, на промыслах гудели первые гудки. Старушка торопливо засеменила прямо к тюрьме и уже издали заметила, что у ворот никого нет — значит, ни Джалал, ни брат Юсифа пока не пришли. Тават-нэнэ подошла к воротам. Вздремнувший под утро часовой очнулся, увидел ее и недовольно покачал головой.

— Чего ни свет, ни заря стоишь над душой?—рассердился он.—Не надоело, что ли, таскаться взад-вперед?..

— А что ж мне делать?

— Рано еще, не торчи здесь. Уходи, после придешь...

Тават-нэнэ промолчала и вздохнула печально.

Оглядев ветхую тоненькую чадру и продрогшее на утреннем холоде лицо Тават-нэнэ, часовой как-то особенно засопел.

— Ладно,—буркнул он. — Присядь вон там, на камне... Посиди, подождем... Как бы ты еще не накликала на нас беды.

Достав из кармана кисет с махоркой, часовой принялся сворачивать цыгарку.

Старушка опустилась на камень.

Она плотно закуталась в чадру и крепко прижала к себе узелок с едой и горячим хлебом, чтобы не дать им остыть.

Устремив взгляд на дорогу, она ожидала сына, который с минуты на минуту должен был притти с братом заключенного.

Закурив, часовой исподволь разглядывал Тават-нэнэ. Затем, осмотревшись по сторонам, кашлянул.

— А не боишься, старая, что из-за этого заключенного ты попадешь в беду?.. Это ведь опасный человек...

Старушка обернулась, посмотрела на часового и улыбнулась. Улыбнулась так, как улыбаются словам детей.

— Сын мой, он страшен хозяевам, начальникам... А вот, если бы у таких, как мы с тобой, бедняков не было таких защитников, сжили бы нас со свету...

Часовой осторожно кашлянул в руку и оглянулся по сторонам.

— А ты слышала хоть раз, что он говорит?.. По-твоему, чего он хочет?—спросил он.

Тават-нэнэ помолчала.

— А ты разве не слыхал, сынок?—сказала она.—Он хочет, чтобы все матери могли видеть своих детей при дневном свете...

Часовой затянулся, искоса посматривая на Тават-нэнэ.

— Да, да, сынок. Мой бедный Джалал уходит на работу задолго до рассвета, а возвращается, когда зажигают лампы, и я не могу вдосталь наглядеться на него. Клянусь аллахом, я и забыла, когда видела его при дневном свете... А этот узник хочет, чтобы трудовой народ возвращался с работы до захода солнца.

Часовой задумчиво покачал головой.

— Ну, нет, старая,—нахмурился он,—это дело хозяевам не с руки...

— Конечно, не с руки. Разве не хозяева постарались упрятать его сюда. А теперь на зло они отпускают рабочих на час позже... Ах, чтоб им...

— Молчи!—шепнул часовой, боязливо оглядываясь по сторонам.—Молчи! Коли начальник заметит, что я болтаю с посторонними, он с меня шкуру сдерет.

И часовой стал прогуливаться перед воротами. Старушка снова взглянула на дорогу. Потом веки ее смежились... Глубокий сон овладел ею.

☆

Какой-то гул врывался в сон Тават-нэнэ. Он напоминал шум моря в осеннюю бурю... Но Тават-нэнэ не просыпалась. Сон всей своей тяжестью сдавил ей веки. Кто-то звал ее. Она слышала сквозь сон этот голос, но не могла отозваться. Наконец, чья-то рука сбросила тяжесть, смыкавшую ее веки. Склонившийся над ней Джалал, смеясь, заглядывал ей в глаза.

— Проснись, мать,—говорил он.—Смотри, пришли все родные Юсифа... Вставай!..

Тават-нэнэ огляделась. Не веря себе, она торопливо протерла глаза. Но необычайная картина не исчезла. Тогда, опершись на руку Джалала, Тават-нэнэ поднялась на ноги.

— Сынок, не во сне ли это?

— Нет!—ответил Джалал.—Все это наяву...

Старушка молчала. Вокруг колыхалось огромное людское море. Люди стояли так плотно, что иголке негде было упасть. Повсюду—от дороги, ведущей на промысел, до самой тюрьмы и от тюрьмы до камней, словно причесывающих волнистые косы моря,—стояла огромная толпа. За ней бурлил и шумел Каспий. Желая узнать, где кончается толпа, старушка, вытянув шею, долго смотрела в сторону моря. Волнующееся море сливалось в ее глазах с людским потоком, словно требуя вместе с людьми свободы и простора. Грозный рев атакующих тюрьму волн, сливаясь с несущимся из толпы криком, потряс окрестность... Внезапно Тават-нэнэ почувствовала, как в ее слабую старую грудь хлынула могучая сила. Тюрьма, обычно пугавшая ее одним своим видом, теперь, в этой окружавшей ее толпе, обратилась в затерявшуюся в буйном море утлую ладью. Тават-нэнэ казалось, что за-

таившее гнев грозное море поглотит сейчас в своем светлом просторе это мрачное судно.

Потом взяв сына за руку, она сказала:

— Покажи мне, кто из них брат узника.

Джалал невольно улыбнулся.

— Какого же из них показать тебе, матушка? Вот все они здесь... Все они услышали твой призыв и пришли.

Все взгляды, соединившись, были устремлены вверх. Воцарилась тишина. Тават-нэнэ подняла голову и увидела молодого узника, приветствовавшего народ из-за решетки тюремного окна.

Глаза Тават-нэнэ радостно сверкнули. Она бросилась вперед, чтобы еще лучше увидеть узника, но ее взгляд привлек прижавшийся к тюремной стене начальник, окруженный городовыми. Теперь он стоял неподвижно, затаив дыхание, вобрав шею в плечи, и не ронял ни звука.

Тогда, не в силах больше сдерживаться, Тават-нэнэ крикнула:

— Ну ты, начальник, вчера ты так напугал меня, что сердце похолодело... Погляди, вот все сыновья, которым ты вчера грозил, пришли... Не один мой сын, весь народ пришел слушать этого узника...

Тават-нэнэ обвела толпу горделивым взглядом.

— Никогда тебе их всех не переловить,—добавила она.

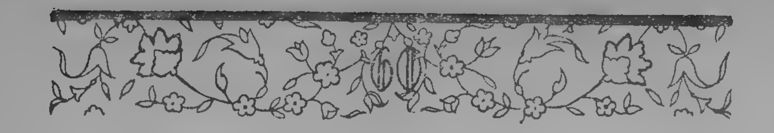
Вся толпа смотрела на нее. Она же, подняв голову, улыбнулась глядевшему на нее из-за решетки узнику.

— Ты права, мать!—крикнул молодой узник, приветствуя рукой старуху.—Сколько б они ни арестовывали нас, сколько бы ни высылали, сколько бы ни вешали, ты, все равно, без сыновей не останешься... Все равно, ты снова и снова будешь посылать на бой все новых и новых сыновей... Спасибо тебе! Спасибо за радость и надежду. Я снова услыхал родной голос народа... Мое сердце, моя воля снова почерпнули силу... Клянусь твоей любовью, мать, до последней минуты жизни я буду верен этому зову, голосу народа, жаждущего свободы...

Тават-нэнэ больше не опускала головы, она не отрывала светящихся радостью, гордостью и любовью глаз с узника.

Этот молодой узник был Коба.





Джафар Хандан

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

I

Сын:

Зачем ты по морю мечтаний плывешь,
Зачем в свое сердце вонзаешь ты нож,
К чему эта скорбь, и тоска, и печаль?
Отец, мне тебя и мечту твою жаль.
Зачем ты на нежных ее парусах,
Без цели и смысла, летишь в небеса,
В бескрайние дали?.. Спасенья там нет.
Холодные сердцем там ищут ответ.
А ты не таков. Ты, как сталь, закален.
Трудом ты прославлен, трудом ты силен.
Ты первому встречному веришь, скорбя,
И мир превращаешь в тюрьму для себя.
Отец, в этих мыслях опасный дурман.
Отбрось их скорее, забудь их, аман!

Отец:

О, сын, я полвека на свете живу.
Я видел тяжелые сны наяву,
И в дни испытаний друзьями навек
Мне были мой брат и один человек!
Из памяти вычеркнуть друга нельзя.
Пойми, навсегда незабвенны друзья.
Заставишь ли совесть бесчувственной быть,
Священную родину можно ль забыть?!
Терзала её чужеземца рука,
Вселенная стала тесна землякам.
Как быть мне?! Тогда меня не было тут.
Пусть дни эти горькие вновь не придут.

Над родиной сыпались пули, как град,
Кровавым туманом весь край был объят
В жестокие годы гражданской войны.
И не было в мире в то время страны,
В которой бы голод не мучил народ...
Так пусть же он вечно назад не придет!
Вставали в те дни в предрассветный мы час.
Когда был получен от Щорса приказ—
Готовиться к бою,—мы с братом пошли
Сражаться с врагами за счастье земли.
Чтоб не было в мире насилья и зла,
Чтоб родина наша свободной была.
Нам дорого стоили эти бои.
Стальные полки мы ковали свои.
Я знаю, что солнце мое не умрет,
И ночь никогда уж назад не придет.
Пусть крылья ночных ненавидящих птиц
Достигнуть пытаются наших границ,
Их соколы наши забьют налету
И встретят зарю, как невесту—мечту!
Но брат мой своей не дождался зари,
Он родины имя не смел повторить.
Досталась панам наших предков земля,
Пришли палачи на родные поля,
И с братом в те дни мне расстаться пришлось.
Но знал я, что вечно не будем мы врозь!
Его мое сердце не в силах забыть,
Врагом, я уверен, не может он быть.
Он—бедный селянин, он горько живет,
Руками в мозолях он хлеб достает.
Темны его мысли, неграмотный он,
Письму он не может поведать свой стон.
И некому мне написать за него.
Могу ли, о, сын мой, забыть я его?!

Сын:

Отец, ты давно уже мне говорил,
Что вместе со Сталиным в ссылке ты жил.
С ним вместе тяжёлые бревна таскал,
С ним вместе письмо Ильичу ты писал.
Пошлем телеграмму сегодня ему.
Он другу ответит всегда своему.
Друзей никогда не забудет он, нет!

Он был тебе близок. Пришлет он совет,
Он горечь твою успокоит, любя.
Напишем ему. Пусть он вспомнит тебя.

Отец:

Нет, сын, не согласен я с этим никак.
Великому Сталину пишут не так.
Я должен писать ему твердой рукой:
— Народа счастливого вождь дорогой,
Мой друг и учитель, отец бедняков!..
Разрушивши силу сибирских оков,
Ты стал полководцем народов земли,
И к славе своей за тобою мы шли.
И я меж другими шагал за тобой.
Старался справляться с работой любой.
В сраженьях победной гражданской войны
Стоял на защите любимой страны
И дрался, чтоб выгнать насильников прочь,
Чтоб утро сменило проклятую ночь.
И стали известными наши дела,
И слава моя по отчизне прошла.
Я гордо скажу, что сибирский твой друг
За все эти годы не складывал рук,
Что верный твой путь я в маяк превратил,
Что Ленин всегда моим знаменем был,
Что орденом грудь моя стала сиять!..
Вот так надо Сталину, сын мой, писать.
А если я буду писать:—Помоги!..
Тоска и печаль—мои злые враги!—
Вождя отвлечет мой ничтожный удел
От славных, великих, огромнейших дел.
Он будет встревожен, пошлет он за мной...
Нет, сердца не радует выход такой.—

Еще не закончил отец своих слов,
Еще говорить он был долго готов,
Когда его младшая дочь подошла
И брату с улыбкой повестку дала.
И встал командир с извещеньем в руках,
И радость в его засверкала глазах.
— Повестка!.. Мне маршал явиться велит!..—
И смотрит на сына отец и молчит.
А сын на повестке читает, шепча:
— Явиться тогда-то... в такую-то часть!..—

Отец:

Иди же немедленно, сын мой!.. Иди!
Большие дела тебя ждут впереди.
Встревожен весь мир. Если грозный туман
На нас устремится из вражеских стран,
Ты мне напиши, и я выйду с ружьем.
Ведь лев—даже старый—останется львом!
Ступай же в счастливый и радостный путь!
Вот мой поцелуй!.. Шире плечи и грудь!..

II

Телеграмма

Сегодня приказом наркома с утра
Полки переходят границу. Пора!
Несем нашим братьям счастливые дни.
Пусть родины ярче зажгутся огни.

Первое письмо

Отец, все селенья кругом извести,
Что шли мы, как львы, на великом пути,
Что враг города нам поспешно сдает,
Что нас осыпает цветами народ.
Везде ликованье. Селянин седой
К бойцам подошел, окруженный толпой:
— Мы рады баранов зарезать для вас,
Мы вас угостили б на славу сейчас,
Но делать нам нечего, наши стада
Угнали паны. Не найти и следа.
В полях наших хлеба не сыщешь давно.
В чужие амбары стекалось зерно.
Народ исстрадался. Стал нищ он и гол.
Народ по лесам разбегался из сел.
И если б не Сталин, народов отец,
Нас всех ожидал бы жестокий конец.
Так слава же Сталину!.. Слава и вам—
Спасительной армии храбрым бойцам!—
Отец, я кончаю. От наших атак
Бежит, как шакал, перепуганный враг.
А мы наступаем быстрее орлов.
Все дальше и дальше, все дальше на Львов!

Второе письмо

У подступов к Львову враги, наконец,
Нам дали большое сраженье, отец.
На воронов Польши неслись сокола,
И славною наша победа была.
Тебя я порадую вестью другой.
О, если б сегодня и ты был со мной!
С туманом мы встретились, в город входя,
Хлестали нас крупные капли дождя.
Паны убегали из города вон.
И вдруг мы услышали сдавленный стон.
А если где стонут—сейчас же мы тут,
И видим жандармы селянина бьют.
Страницу газеты к груди он прижал.
— Сдавайтесь!—я крикнул, от гнева дрожа.
— Старик, расскажи, что случилось с тобой?—
Селянин ко мне повернулся спиной,
И с болью мы все увидали на ней
Десятки кровавых полос от плетей.
С трудом он поднялся, он нас целовал
И снова без силы на землю упал.
— Вот это... вот это хотели отнять!..—
В слезах повторял он опять и опять.
Он скомканный лист протянул мне. С него
Смотрели глаза дорогие того,
Кто миру сияет, подобно звезде,
Кого почитают и любят везде.
Когда же селянин мне имя назвал,
Я дядю родного в бедняге узнал.
Ему рассказал про отца своего
И высушил горькие слезы его.
Огнем загорелись у дяди глаза,
В них молнией гневной сверкнула гроза.
Хотел он сейчас же оружье найти,
Чтоб нашим путем вместе с нами итти.
От гнева к слезам возвращался он вновь,
В лице его маем сияла любовь.
Нет слов описать ликованье его,
Нет слов рассказать про его торжество.
И так же, как он, ликовал весь народ,
И так же, как он, все стремились вперед.
Из каждого дома, из каждых дверей,
От дедов, отцов, сыновей, матерей

Мы слышали возгласы:—Сталин, живи!
Согрей нас лучами могучей любви!—
Великое имя летело везде,
От горных вершин поднималось к звезде,
Огнем зажигало повсюду сердца
Победное имя вождя и отца.
На фронте оно вдохновляло бойцов,
Оно соколов превращало в орлов.
На крыльях своих они людям несли
Великую, светлую правду земли.
Победа, отец, обеспечена нам.
Мы родину-мать возвращаем сынам!

☆

Вперед пролетали крылатые дни.
В грустивших сердцах засияли огни,
Мечты раскрывали свои паруса,
Мечты озаряли лучом небеса.
И солнце вставало, рассеявши тьму,
И руку мечты пожимали ему.
И жизнь закипала, и птицы ночей
Глаза закрывали от блеска лучей,
А солнце сверкало навстречу мечтам,
Неся избавленье вчерашним рабам.

III

И месяц еще не прошел до конца,
Когда застучали победно сердца
В народном собраньи воскресшей земли,
И к сердцу от сердца пути пролегли.
Под ленинским стягом шагая вперед,
Советскую власть созидает народ.
Избранникам сел, городов, деревень
Объятья столицы раскрылись в тот день.
Тринадцать мильонов свободных детей
Встречаются с гордой отчизной своей,
И их делегатам любовный привет
Шлет родины нашей Верховный Совет.

☆

Встречая своих долгожданных гостей,
Страна ликовала сильней и сильней.
В горячих объятьях восторженных встреч
Звучала счастливая, вольная речь.

И между гостей был селянин седой,
Сжимавший недавно рукою худой
Разорванный маленький скромный портрет
Великого гения наших побед.
Теперь будет светлым селянина труд.
Теперь его радость повсюду поймут.
И он, проходя через блещущий зал,
Учителя-друга глазами искал.
Вокруг—его братья, родная Москва.
Ликуют сердца и сердечны слова,
Счастливых, восторженных слез не унять!
— Вот родина наша—любимая мать!
И радость бушует, вольна и легка,
И Сталина имя летит в облака!
В ворота Кремля, говорлив и широк,
Вливается мощный народный поток.
Великая сессия эта всегда
В сердцах сохранится, вольна и горда.
Текла там беседа сердечных друзей
О тяжести прошлых безрадостных дней.
Мечты окрылились и ринулись ввысь,
Из тюрем Сибири они вознеслись
И здесь улыбались десяткам племен.
И руки взлетели, как древки знамен,
Включая воскресших в родную страну,
Народам даря золотую весну!





Алекбер Джафаров

ШКОЛЬНИК СОСО

О, мечты человеческой вольный полет!
Сколько создано ею чудесных красот.
Тайны мира раскрылись в мечтах, как цветы,
Нет конца откровениям пылкой мечты!
Ни в прошедшем, ни в будущем нет ей преград,
Крылья ветра мечту над столетьями мчат.
Пусть сегодня былое она воскресит,
Чтобы миг улетающий не был забыт!

☆

Утро. Солнечный луч над высотами гор
Золотит снеговой величавый простор.
Молодая грузинка сбегает с вершин,
Пронося на плече своем хрупком кувшин.
И на звук ее песни, как день молодой,
Откликается эхо с вершины седой.
Но Кура не скрывает волненье свое,
Словно в горе, мутнеет теченье ее.
И, обрызгав склонившейся девушки стан,
Мчится вольными струями в Азеристан.
Сила вечности волнам бурлящим дана,
И источник поэм вдохновенных она!
Древней крепости стены стоят на скале.
Много лет эта крепость мечтает во мгле.
С той поры, как ее закатилась звезда,
Мертвой тайной объята она навсегда.
Неизвестно, в каких отдаленных веках
Возвела эти стены владыки рука.
Годы сделали стан ее гордый скромней,
Облака проплывали, рыдая над ней,
Птицы к ней не решались направить полет,
В ней тяжелая тайна веками живет.

Древний город в молчанье и сон погружен,
Бьются ветры о стены забытых времен,
Но довольна прекрасная эта страна
Тем, что солнцем горячим согрета она.

☆

Из тюрьмы почерневшей выводят крестьян.
Руки каждого связаны, сгорблен их стан.
Полицейские злобно их гонят вперед,
А вокруг золотистое утро цветет.
И глядят они в небо, на горы глядят,
На леса устремляется жадный их взгляд,
На сады, на поля, на кусты цветников,
На плывущие вдаль паруса облаков,
На равнины, где вольные бродят стада,
На глаза, чья печаль не умрет никогда,
На порхающих между цветущих ветвей,
Быстрых ласточек—первых весенних гостей.
Не увидеть крестьянам во век этот край,
Говорят они родине гордой:—Прощай!

☆

Тесной улицей несколько шустрых ребят
С разговорами шумными в школу спешат.
Увидав каторжан, а за ними—конвой,
Вышел мальчик и взгляд устремил огневой.
Подошел к конвоиру, печален и тих,
И спросил его, в чем преступление их.
Конвоир был печалью его удивлен
И сказал любопытному мальчику он:
— Эти люди, малыш, непутевый народ.
Их за бунт наказанье суровое ждет!
Дерзкой речью они волновали страну,
Всем богатым они объявили войну.
Восставали они на царя и князей,
Говоря, что их гнет с каждым годом сильней.
Собирались они по подвалам тайком,
Призывали покончить с властями штыком,
Всех дворян и князей уничтожить подряд,
Силой выгнать из Грузии царских солдат... —
Но конвойный закончить рассказ не успел.
Арестованный звонкую песню запел:

С тех пор, как в сад вошел чужой,
Не счесть на сердце ран,
И горы Грузии родной
Закрыл от нас туман.

Изнемогаем мы от бед,
Болит и ноет грудь.
Грузин, князьям пощады нет!
Об этом не забудь!

Пускай сейчас, в тоске скорбя,
Страдает вся страна!
Грузин, настанут для тебя
Иные времена!..

Как кинжал, прочеркнула свой след полосой
Эта песня в душе мальчугана Сосо.
— Но настанут иные века для тебя!—
Отходя от солдат, он шептал про себя.
Если б жизнь улыбалась не только князьям,
Если б правду твердить не мешали устам,
Если б плод золотой доставался тому,
Кто свой труд и умение отдал ему!...
Эти люди судьбу вызывают на бой,
Их сердца зажжены непокорной мечтой.
Мысль о них его душу смятенную жжет,
За крестьянами мальчик невольно идет.
У дороги, одетая в черную шаль,
Плачет женщина, скрыть не умея печаль.
Среди тех, кого ссылка сибирская ждет,
Молча, сын ее, скованный цепью, идет.
— Сын мой, лучше б навеки лишиться мне глаз,
Чем страдания эти увидеть сейчас!
Пусть бы смерть в мое сердце вползла, как змея.
Хуже смерти для матери участь твоя!
О, злодеи!.. Отдайте мне сына назад!
Неужели вас слезы мои не смягчат?!—
Тянет руки к любимому первенцу мать,
Хочет сына нежней на прощанье обнять,
Но палач, продолжая проклятый свой путь,
Бьет прикладом несчастную женщину в грудь.
— Ты молчишь, о судьба!. Я одна!.. Я одна!..—
И без чувств на дорогу упала она.
И возлюбленный сын—ее счастье и свет,
Без которого жизни для матери нет,
Влажным взглядом навеки прощается с ней,
Ненавидя душой этот мир палачей.
А вдали, на скале, непреклонен и зол,
На добычу бросается камнем орел...
Старый город опять тишиною объят,
Мрачной крепости хмурые стены молчат.

Только струи Куры не скрывают свой гнев,
Слыша девушки стройный печальный напев.
Вьются темные кольца кудрей за спиной,
Робко делится девушка горем с волной:
— Нет со мною любимого... Взяли его...
Увели от меня жениха моего!..
Так прими же теченье хрустальной струи,
Безутешные горькие слезы мои!
Много тайных желаний хранишь ты в себе,
Ты мне путь преграждаешь к победной борьбе.
Ты, как голубь, а я —соколица, Кура!
Обними меня крепче, родная!.. Пора!..
Пусть кудрей твоих бурный поток обовьет,
Точно кудри любимого, сердце мое!
Пусть меня захлестнет навсегда водопад,
Пусть тоска никогда не вернется назад!..—
И Кура продолжает бурлить и стонать,
И мутнеет от горя зеркальная гладь,
И не может ничто ее путь изменить,
И от ночи нельзя этот день отличить!..

✡

Нет ни узника—сына, ни матери там.
Снова площадь пуста... Этим черным годам,
Этой власти, что строит свой мир на крови,
Угнетателям жизни, убийцам любви,
Палачам ненавистным, чья злая рука
Обагрила невинною кровью века,
Всем, что в ярости дикой тушили зарю,
Изуверам—князьям и злодею—царю,
Всем, кто души людские терзает и рвет,
Посылает сто тысяч проклятий народ.

✡

И на площади школьник стоит, одинок,
И в глазах его искр бесконечный поток.
Он стоит, напряжен, горделив и суров,
Перед ним возвышаются сотни миров.
Смотрит он арестованным пристально вслед.
— Разве люди родятся рабами?! . О, нет!
Будь бы чуть я сильнее,—подумал Сосо,—
Я своей бы рукой повернул колесо.
Я дворцы бы взорвал и разрушил до-тла,
Я бы власть отобрал у носителей зла,
Я бы людям труда передать ее смог,
Я бы тысячу солнц над землею зажег!

Пусть бы свет темноту навсегда поборол,
Пусть бы рухнул на землю двуглавый орел!
Я бы выгнал навеки с земли нашей вон
И корону, и кровью забрызганный трон!
Если в небе свободны луна и звезда,
Если плещется в реках свободно вода,
Если ласточки славят свободно весну,
Почему человек изнывает в плену?!
Жизнь людская должна быть во всем хороша,
Больше света и воздуха просит душа.
Пусть нам солнце сияет всегда впереди,
Пусть невесты фиалки приколют к груди,
Пусть веселые лодки плывут по реке,
Пусть забудет навек человек о тоске,
Пусть народы земли, сокрушив рубежи,
Славят в песнях счастливую, вольную жизнь!—
Так, мечтой озаренный, он долго стоял,
И напрасно товарищ его окликал.
Наконец, он в молчанье побрел на урок.
Он мечту в своем сердце навеки зажег.

ЭПИЛОГ

Годы долгие шли вслед за памятным днем.
Юный школьник, ты стал нашим мудрым вождем.
Жизнь твоя в ураганах и грозах прошла,
Испытаниям не было в жизни числа,
Ты по тюрьмам и ссылкам скитался года,
Мать седая ночами рыдала тогда,
Но ты грудью встречал все лишенья свои,
Ты упорно готовил с дворцами бои.
С мудрым Лениным—горным могучим орлом—
Ты держался к крылу величавым крылом.
Тучи черные, вас увидавши с высот,
Изменяли невольно свой грозный полет.
Жизни ось повернули вы властно туда,
Где сияет труда золотая звезда.
В новом мире роскошный возделал ты сад,
В каждом дне нашем ныне столетья гремят.
В этот сад, что пышней с каждым часом цветет,
Опускаются звезды с небесных высот,
Даже солнце спускается к мыслям твоим,
Чтобы светом своим поделился ты с ним!



Владимир Байромян

БАЛЛАДА О СТАЛИНЕ.

Когда сорвав с себя башлык,
Беззвучно зарыдал старик,
Когда обнял могилы край,
Тогда к нему, топча курай,
Вдруг вышел юноша-грузин:
— Старик, твой сын—народу сын!
Не плачь, старик!
Старик, не плачь,
От кары не уйдет палач.
День неминуемый придет,
За все, за все воздаст народ.
И будет пир – поверь ты мне—
Пир и на нашей стороне!—
И он в клубящейся пыли
Поднял лопатой ком земли.
Как он прекрасен был и горд,
Когда трепал бакинский норд
Знакомый клетчатый фуляр!
Сказал он:
— Мир тебе, Ханлар!
Да будет над тобой легка
Земля!—
И обнял старика...
Но настороженный старик
Нивесть зачем к земле приник,
Что мог он слышать?
Ветра вой
Над поседелой головой,
Да шорох у надгробных плит,
Где лишь бурьян глухой шумит?!

Но вдруг, вцепившись в клок седин,
Он закричал:
— „Беги, мой сын!“ —
И тут раздался стук копыт.
И все сомкнулись вдруг:
— Беги!
И расступился круг:
— Беги!
Молили камни вслух:
— Беги!
И за казачьим бунчуком
Рванулись кони прямиком...
Но долго под раскат копыт
Всем мнилось: Коба говорит,
Откинув волосы со лба,
И перед юношей стоит
Завороженная толпа.





Гарегин Севунц.

ВЫРУЧИЛ

— Он опять не пришел.

— Боже мой, не убит ли он? Не брошен ли его труп в Куру? А может, только заключили в тюрьму?..

Всю ночь Ната не смогла сомкнуть глаза. До самого утра она просидела на краю тахты, у ног детей. То закрывала глаза, то открывала их и напрягала слух. На дворе ни звука. Все замерзло и оцепенело. Немного спустя, дети должны были проснуться и начать просить:

— Хлеба!

Последние три дня они питались сухими корками, оставшимися в корзине.

Где Сандро? Что он делает? Недавно за ним приходили жандармы. Покопались и ушли, пригрозив:

— Он бунтовщик, один из зачинщиков беспорядков. Он остановил конку города.

Странно, как это? Сандро не может добыть кусок хлеба для детей, а останавливает конку города, да притом такого большого города, как Тифлис? Сандро говорил, что он против правительства. Однако, что смогут сделать несколько человек против такого сильного правительства?

— Боже мой, не убит ли он? Не брошен ли его труп в Куру? А может, только заключили в тюрьму?

— Господи, милостивый, сжалься над этими детьми. Избавь нас от горя.

Ей, казалось, внимала часть мрачного неба, которая заглядывала в окно и оставалась такой же холодной, равнодушной, безучастной.

— Господи милостивый!..

Но никто не стучался в их дверь. Прошла еще одна ночь без Сандро. Снова тусклый свет саваном обволок тахту. На-

та медленно окинула взглядом всю комнату. Хоть бы было что-нибудь продать, а то не на что хлеба купить. Вот в углу валяется раздавленное ведро, возле него—веник, а поодаль—бутыль с керосином и дырявое корыто для стирки. Все это не стоит и гроша. Хотя бы было несколько копеек на черный хлеб. Но ничего не поделаешь, нет. Сандро говорил:

— Пусть пройдет этот проклятый девятисотый год, потом посмотрим...

Как же пройдет? А что, если и пройдет? Вот, если бы она увидела одного из его друзей, поведала бы ему свои горести, облегчила страдания.

— Господи милостивый, настанет ли желанный день?

Вот и рассвело. На дворе—снег, мороз. Ната пошлет детей христарадничать. От этой мысли она ужаснулась. Вспомнила о дальних и близких подругах, знакомых... В воспаленном воображении она представила себе своего любимого Сараджа, Рамика и Лерика, просящих с протянутой рукой хлеба:

— Дзало, дайте кусок хлеба!..

— О, чтоб ослепнуть мне!.. О чем я думаю? О чем я думаю?..

Слезы брызнули из ее глаз. Как капли воска горящей свечи, они катились одна за другой и падали на побледневшие губы, грудь.

— Не позволю, не позволю... Нет, нет, уж лучше пусть умрут.

Она закрыла лицо ладонями, большими пальцами рук сжала горло, чтобы сдержать рыдание. Ната не хотела будить детей раньше времени.

Как было бы хорошо, если бы они навек заснули с нею вместе. Как было бы хорошо! Смерть обо всем заставит позабыть. Уже ничего не почувствуешь. Да, Ната решила: лучше сразу в пламени превратиться в прах, чем дать себя на растерзание в когти медленной голодной смерти.

Ната двинулась к бутыли с керосином. Охваченная внутренним жаром, она, как вор, схватила бутыль, желая предать огню весь дом. Тотчас же в висках закололо, в глазах потемнело. Сквозь туман она видела только тахту, на которой лежали три жертвы голода и скорби. Она сама тоже ляжет на край тахты, обнимет детей и продержит их, пока страшный огонь не сожрет ее с ними.

— Боже мой, что я делаю?..

Как у повешенной, руки ее бессильно опустились. Бутыль разбилась вдребезги. Дети проснулись. Не зная причины рыданий матери, они тоже расплакались. Мать уже не была в силах сказать своим детям слова утешения. Сколько дней она обманывала их, обнадеживала, что отец вернется, принесет деньги, и все будет хорошо.

А он со дня забастовки не вернулся домой.

— Боже мой, не убит ли он? Не брошен ли его труп в Куру? А может, только заключили в тюрьму?

Все надежды рухнули. Снова Нату стал тревожить мучительный вопрос насущного хлеба.

— Вставайте, папа не возвращается... Идите в город. Наверное, найдется добрый человек, который даст вам кусок хлеба... Вы—малыши, сжалятся над вами. Ступайте, ступайте!...

Дверь лачуги выходила на грязную и глухую улицу. Дети вышли. Холодный мрак принял в свои объятия новые жертвы, только-только вступавшие в жизнь.

— До чего я дошла?...—стонала Ната.—Что я наделала?.. Мой Рамик должен просить на улице: „Дзало, дайте кусок хлеба!..“

Вернуть их! Вернуть! Куда они пошли? Что с ними?

Она еще плакала, когда раздался тихий стук в дверь. Ната быстро вскочила с места. Волосы, смоченные слезами, прилипли к лицу. Когда она открывала дверь, в ней заговорила врожденная гордость, и она приняла спокойный вид, скрыла слезы. В комнату вошел молодой человек, одетый кучером. В этой одежде Ната с трудом узнала гостя.

— Ладо!..

— С добрым утром, Ната!

— Ладо, а Сандро?..

— Это надо спрятать!—сказал Ладо, передавая ей чемодан.—Вечером зайдут за ним, чтобы отнести на вокзал.

— Я скрою его под корытом.

— Поставь рядом еще что-нибудь из хлама.

— А где Сандро?..

— Он не пришел?

— Нет, не пришел...

Ната ничего не сказала, опасаясь взрыва горьких рыданий.

— Он должен был притти. А где дети?

Не лучше ли было Нату бросить в пламя, чем задать такой вопрос?! Острым кинжалом он вонзился в ее грудь. От ужасной боли лицо ее исказилось. Стыд и гордость принудили скрыть горе.

— Они пошли добывать для себя...

Ната едва сдерживала рыдания.

Сперва она хотела сказать всю правду, но потом отказалась от этой страшной мысли.

— Генацвале, что ты грустишь, все будет хорошо. Если Сандро покажется, его арестуют.

— Но до каких пор, Ладо? До каких пор?..

Ладо горько засмеялся.

—Ты задаешь такие вопросы, генацвале!.. Кто может сказать, до каких пор?.. Пока мир вот так не перевернется, —он в воздухе описал круг,—пока не будет иметь хлеба голодный и дома—бездомный. Не бойся, если останемся живы, то увидим этот день...

Утомленная, истощенная Ната молча смотрела на Ладо.

— Я воспользовался туманом и пришел сюда. Туман может внезапно рассеяться. Мне надо уйти.

Ната, ничего не понимая, кивнула головой в знак согласия.

— Не знаешь ли ты, где Сандро? Скажи ему, Ладо, скажи...

— Что сказать?

— Нет, ничего не говори, когда придет,—сама скажу.

— Ну, прощай.

Ладо вышел, Ната прятала чемодан, принесенный Ладо Кецховели, когда из-за дверей донеслось знакомое шаркание ног. Она выронила из рук веник. Дверь отворилась точно так, как она открывалась в течение пятнадцати лет. Муж принес с собой холод и запах махорки. В другой раз Ната могла, не глядя на мужа, определить, о чем он думает, а сегодня это было трудно. Сандро изменился. С каким-то рассеянным видом он прошел из одного конца комнаты в другой, заглянул в углы, словно ища там чего-то. Как и прежде, он хотел увидеть детей. А их не было. В комнате сильно пахло керосином.

— Наконец, ты вспомнил и о нас,—закинув спутавшиеся волосы к затылку, прошептала Ната.

— Не больна ли ты, Ната?

— Что болезнь, ты нас сведешь в могилу.

— Ната!

Сандро зашагал в глубину комнаты и обернулся.

— Где дети?

Казалось, скорчившиеся плечи Наты того и ждали, чтобы начать нервно вздрагивать... Подойдя к жене, Сандро поднял ее голову.

— Что случилось?

Ната не могла ответить.

— Ты скажешь, нет?..

— О-они... по-о-шли просить хлеба...

— Ты с ума сошла, Ната?

— Я... я... что могу поделать?.. Ты, ты...

Сандро чувствовал себя оскорбленным. Его глаза зажглись искрой гнева.

— Ты с ума сошла, Ната?

Ната отвернулась к окну и вдруг шарахнулась, как ужаленная змеей. Слезы застыли на глазах, руки прижались к груди, и ужас охватил ее.

— Жандармы!

Сандро не ожидал их. Казалось, он только что опомнился и сообразил, что именно они нанесли ему оскорбление, выбросили его детей на улицу за куском хлеба. А теперь они снова идут, чтобы обрушить на него еще удар, упрятать за решетку, лишить воздуха и свободы.

Сандро не дали долго размышлять. В лачужку вошли два свирепых жандарма.

— А, наконец, ты вернулся?—усмехнулся один из них.

— Да, но я вас не приглашал в свой дом.

— Нас во многие места не приглашают, но мы идем.

— Как разбойники...

Жандарм, разговаривавший с Сандро, поднял нагайку. У Наты подкосились колени, она упала на пол, испустив громкий крик.

— Мы еще посмотрим, насколько выгодно тебе иметь длинный язык,—сказал жандарм, опуская нагайку.—Где Кецховели?

Сандро молчал.

— Где Ладо Кецховели?

— Вам лучше знать.

— А ты не знаешь?

— Я ничего не знаю.

— Узнаешь и скажешь все, когда тебя возьмут за горло.

Ната с широко раскрытыми глазами следила за жандармами. Она прекрасно понимала, что значит—„взять за горло“.

— Пойдем,—приказал тот же жандарм, кивнув головой в сторону двери.

Сандро уводят... Неужели Ната больше не увидит его? Его могут даже повесить, расстрелять, утопить в Куре!.. А она? Как она сможет жить без Сандро?

— Нет, нет! Не уводите его, я скажу, где Кецховели.

— Ната!

— Ну, говори, а то его больше не увидишь.

— Ната!

— Умоляю, сжальтесь над детьми.

— Говоришь или нет?..

— Скажу, скажу, не уводите...

— Ната!

— Вон!

— Ладо, Ладо...

— Ната!

— Не уводите, мои дети умирают...

— А где Кецховели?

— Ладо?.. Где?.. На Авлабаре...

— Ната!

— У Арутюна.

— Так! А ты говоришь, что не знаешь!

На миг Сандро склонил голову, затем взметнул руку с чем то, похожим на толстую свечу

— Вы видите эту гранату? В пух и прах разнесет вас. Не смейте двигаться, все пошлю к чорту. Не смейте, говорю... Мне не о чем жалеть.

Сандро не шутил. Он готов был и сам взлететь на воздух, лишь бы не допустить, чтобы бесследно пропали руководители организации. Пусть лучше он сам погибнет, а Кецховели, Коба и другие останутся живы. Они останутся и подумают о его чести, которая сегодня была попрана. Они останутся и позаботятся о сиротах, бездомных, нищих. Но кто сказал Нате о месте сбора? Зачем сказали? Так, подобно молнии, воспламеняются и гаснут перед смертью гнетущие мысли. А сейчас он держал смерть в своей руке.

Сандро сжал в руке гранату. Напротив стояла Ната. Сандро взглянул на ее побледневшее лицо и почему-то вспомнил о первом поцелуе.

Это продолжалось не более секунды. То было лет пятнадцать назад. Он вспомнил детей. Стоя на одной из тифлисских улиц, они просят: „Дядя, подай копейку!..“

— Не двигайтесь, взорву!

Ната была растеряна. В Сандро она открыла сегодня незнакомые черты... Что же это было за незнакомое и

новое в Сандро? Гнев мести? Нет, для Наты это было не ново.

Так что же? Глубокое горе или большая смелость? Нет, нет, что-то другое, ужасное, неизвестное Нате. Вначале она словно была безразлична к гранате, которую Сандро держал в руке; затем, как бы очнувшись, поняла и содрогнулась.

— Что ты делаешь, Сандро?

— Молчи! Повернитесь все. Ну, приказываю!

Глаза Сандро искрились гневом. Слегка вздрагивал рукав мохнатой шубы.

Жандармы, увидя гранату, вытянули шеи. Светлобородый, до этого с иронией испытывавший Сандро, криво усмехнулся и хотел что-то сказать, но язык не подчинился ему. Лишь зрачки глаз странно блуждали по сторонам.

— Повернитесь, говорю, — снова пригрозил Сандро.

Они молча повернулись. Только Ната осталась неподвижна.

— Снимите оружие. Без слов, не то взорву. Живо, живо, положите оружие у ног!

Жандармы, как пленные, подчинились.

— Два шага вперед. Собери оружие, Ната. Клади сюда. Так!

Сандро что-то шепнул Нате, кивнув головой в сторону жандармов, и продолжал командовать:

— А теперь, господа, раздевайтесь, ну!.. Я не шучу, скорее!.. Повернись, Ната.

— Ориашвили, скажи, что ты хочешь делать?

— Ни слова!.. Раздевайтесь, говорю.

— Зачем?.. Здесь холодно.

— Господин начальник, я здесь пятнадцать лет прожил, не умер. Снимайте и кальсоны. Без разговора.

— Ориашвили...

— Я сказал, ни звука!

Жандармы с кряканием снимали свои сапоги. Они не заметили, не услышали, как супруги переговорили о чем-то. Затем Ната запротестовала.

— Сандро, не мучай их. Сандро, не навлекай на себя беды.

— Молчи. Не твое дело.

— Если не мое, так чье же?

— Ты выйди отсюда.

— Ориашвили, ты нас можешь убить и в одежде.

— Молчать! Убивать вас в одежде?! Но жаль одежды, она кому-нибудь да пригодится. Снимайте и сорочку.

— Ориашвили, подумай, что ты делаешь. Ты его императорского... Я не сниму...

— Не снимешь? Ладно. Ты еще у дверей стоишь, Ната? Отойди, сказал я. Смотри за детьми.

— Сандро!—вскрикнула Ната.

— Отойди. Прощай...

— Что ты делаешь, Ориашвили? У нас тоже ведь есть дети...

— Ничего, молитесь, если не хотите раздеваться... Ваши дети будут обеспечены пенсией.

— Ориашвили, Ориашвили!..

Один из жандармов заплакал.

— Молчите: или раздевайтесь, или... Так! Возьмите свои рубахи, садитесь на тахту. Не стесняйтесь, моя жена вышла. Так!

Жандармы сели, дрожа от страха.

Сандро заставил их завязать друг другу глаза.

— Так! Влезайте под одеяло. Закройте и голову. Так! Теперь, если вы хотите остаться в живых, молчите.

Сандро быстро надел жандармскую форму. Вытащил чемодан, принесенный Кецховели.

— Теперь слушайте. Я вас арестую в этой комнате до вечера. Поняли? Я буду стоять снаружи у окна, пока не придут мои товарищи. Как только вы попытаетесь сдвинуться с места, бомба влетит внутрь комнаты. Мне нечего терять здесь. Вот я и оконное стекло разбиваю.

Одним ударом Сандро выбил стекло.

На дворе он передал свою шубу Нате и поручил ей:

— Подними воротник шубы. Встань плечом к окну. Бери, это не настоящая бомба. Показывая бомбу, ты прячь свои пальцы в рукав. Будь мужественной, Ната. А в дальнейшем старайся не лгать. Сама того не зная, ты чуть не выдала товарищей.

— Как я могла знать, что они у Арутюна? Просто сказала... А что мне делать дальше?

— Об этом мы после подумаем.

Немного спустя, Сандро в экипаже мчался к Арутюну, где должны были собраться руководители организации.

Дверь отворила жена Арутюна. Из глубины комнаты доносились приглушенные голоса. Оставив тяжелый чемодан в передней, Сандро вошел в комнату. Товарищи с трудом узнали его.

— Да это ведь Сандро?

— Поздравляем тебя с новой службой!

— Не время, выслушайте меня.

Он второпях рассказал о случившемся.

— Не проследили ли тебя?—спросил Арутюн.

— Ната на страже.

— Немедленно надо скрыться.

— Почему Коба не явился? Не повидав его, я не могу бежать, — поднимаясь с места, сказал Ладо и посмотрел в окно.

— Меняй одежду, живо.

— Смотрите, не опоздайте. Ната едва ли сможет удержать их долго.

— Удержит!

— Вот и он!—радостно воскликнул Кецховели, отвернувшись от окна.

— Коба?

Он вошел с жизнерадостной улыбкой на лице и даже был настроен пошутить.

Кобе рассказали о проделке Сандро.

— Ого! - воскликнул он одобрительно и, положив руку на плечо Сандро, сказал: — Здорово ты сообразил! Но вам немедленно надо бежать. Ты, Ладо, поезжай в Баку и подумай о типографии. И ты, Сандро, уезжай... Уезжай с Ладо.

— А Ната?—спросил Ладо.

На минуту воцарилось молчание. Товарищи переглянулись. Коба, взяв фуражку, сказал:

— А Нату я выручу.

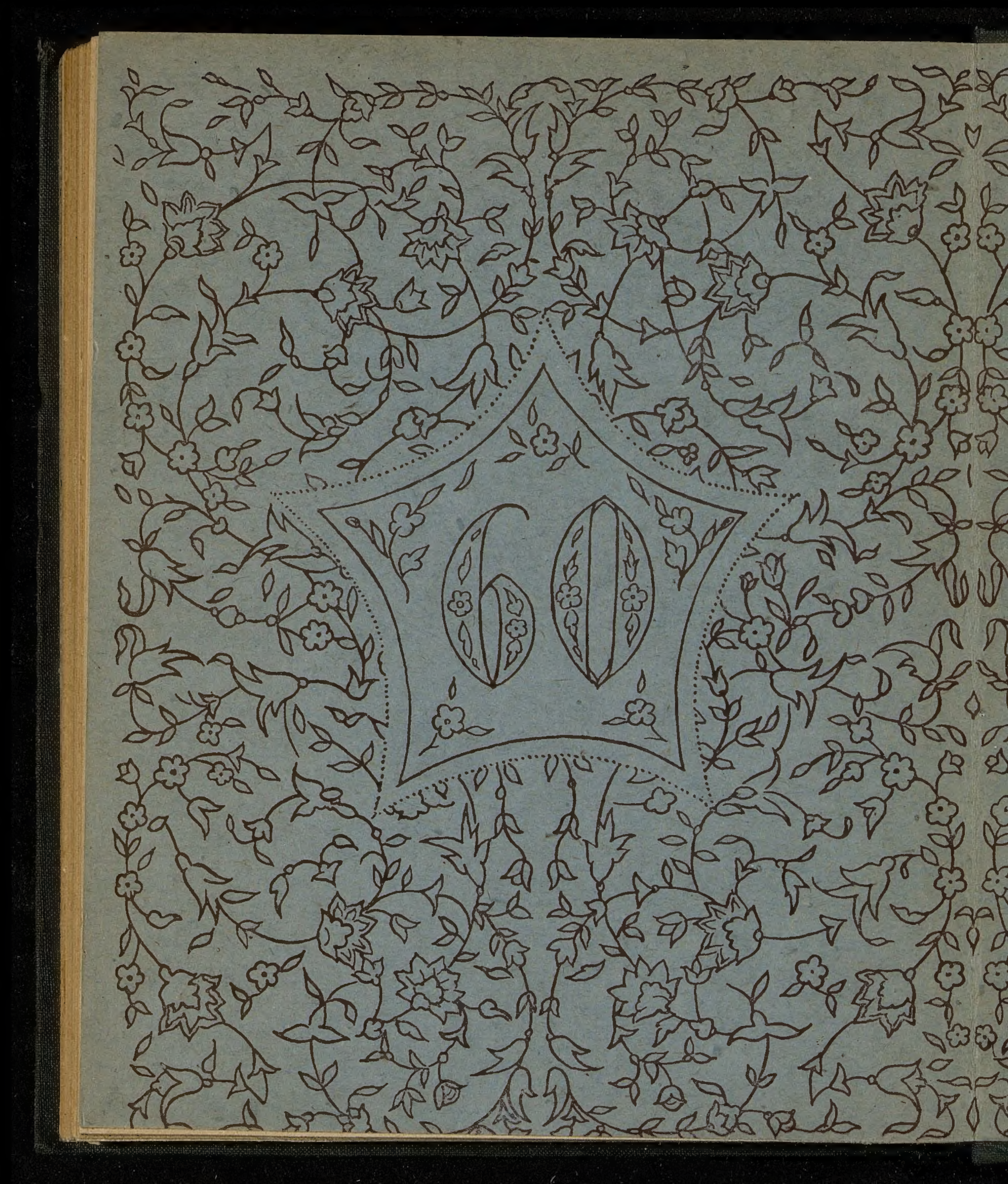
И он поспешно вышел...



СЛОВАРЬ
НЕПОНЯТНЫХ РУССКОМУ ЧИТАТЕЛЮ СЛОВ

Авлабар—район старого Тифлиса.
Агалар—господа.
Азан—призыв к молитве.
Азеристан—Азербайджан.
Азраиль—Ангел смерти.
Генацвале—грузинское ласкательное слово.
Гуймах—сладкое, жирное мучное блюдо, которое готовят обычно при рождении ребенка.
Даи—дядя.
Дзало—по-грузински—тетя.
Дудук—дудка, свирель.
Иолдаш—товарищ.
Качах—беглец, скрывающийся от властей.
Киши—мужчина. Обычно прибавляется к имени пожилого человека.
Кочи—головорез, телохранитель б. бакинских миллионеров.
Мангал—жаровня.
Мутака—круглая продолговатая подушка.
Нэнэ—бабушка.
Саз—трехструнный музыкальный инструмент.
Тамада—руководитель стола во время пирушки.
Уста—мастер.
Хазар—Каспий, Каспийское море.
Чарчи—мелкий торговец-разносчик.
Хурджин—переметная сума, преимущественно из ковровой ткани.
Чоха—верхняя длиннополая мужская одежда.
Чувал—мешок.
Юзбаши—сельский старшина при царском режиме.

ОГЛАВЛЕНИЕ


60

